**Венера**

Генрих Манн

«Три романа герцогини Асси». Книга 3

I

Рассветало. Она открыла глаза. Поезд мчался сквозь туман, болота остались позади. Вдали исчезали смутные очертания Мантуи, угловатые и темные. Кругом расстилалась плоская, темная равнина. Маленькие, слабые верхушки деревьев неясно вырисовывались на желтоватом облачном небе. Из борозд вспаханной земли выглядывали люди, сгорбленные и неторопливые, казавшиеся крошечными среди огромной равнины.

Она опустила окно, полная нетерпения.

— Неужели никогда не будет остановки? Я хочу выйти. Ах, эта земля!

Она чувствовала нежность к каждому клеверному полю. Перед ярко-зеленой после дождя лощинкой паслись косматый ослик и жалкая кляча. Она уже чувствовала свои руки вокруг шеи животных. Под ногами она уже ощущала мягкую глину, уже исчезала мысленно в серой дали, вся уже принадлежала земле и ее будням, суровым; темным, ничего не знающим о праздниках человеческого искусства, о фонтанах, статуях и мраморных порталах.

Несколько часов спустя она, улыбаясь над своей мимолетной грезой, смотрела на чарующие поля Тосканы. У ног ее, среди тополей и ив, извивался Арно. Вдоль длинной дороги лежали города, светлые, выхоленные, окруженные виноградниками, кусты которых вились вокруг маленьких вилообразных подпорок. До нее доносилось, играя, мягкое, свежее, дуновение ветерка. Небо синело, ласковое и глубокое, и она думала:

«Почему я не иду по той правильной аллее на мягких склонах, к прелестной усадьбе. Ее осеняет группа кипарисов и пиний; она четырехугольная, и в середине ее возвышается плоская, широкая башня. Как счастлива была бы я на ее террасе, над этой гармоничной страною, под чистым золотом ее солнечных закатов».

После полудня падавшую от туч тень прорезало Тразименское озеро со своими черными, призрачными островами, с розовыми замками на них. Высокими волнами вздымался лес Умбрии, окружая древние руины и венчая последние холмы в голубой сказочной дали. В самом центре, на отвесной черной скале, погребенной под вьющимися растениями, возвышался город с зубцами и башнями, желтыми, как охра. Почти лишенные окон, они, казалось, глядели внутрь себя, на свои грезы. Эти грезы были полны тяжелого, страстного стремления вверх, к небу, но они не могли вырваться из темницы, неумолимо державшей их на этой земле.

Но вот скрылись и холмы и лес; земля стала голой и торжественной. Из разорванных туч вырывались, точно блеск мечей, лучи солнца. Ветер приносил с собой эхо старых битв. На несколько коротких часов герцогиня перенеслась туда, где грезила и охотилась десять лет тому назад. Она видела себя на лошади впереди всадников в красных фраках; они мчались по выгоревшей траве между могилами у края поля, сквозь разрушенные арки акведука. Волы с изогнутыми рогами, развалившись у дороги, пережевывали жвачку. У откосов глодали редкую траву козы. Стада овец белыми и черными пятнами исчезали в складках холмов, под плоской скалой с циклопическими стенами и причудливыми церквами. Плющ расщепливал стены башен... Она посмотрела на небо, которое вечер окрашивал точно кровью героев. За горизонтом одиноко вырос купол, мрачно и тяжело поднимавшийся над равниной: то был Рим.

Она переночевала и поехала дальше. Однажды в полдень, когда поезд остановился, удушливый ветер заставил ее вздохнуть. Он точно поцеловал ее в глаза; она должна была закрыть их. Он словно устлал землю пышными коврами и приглашал ее ступить на них. Она вышла и поехала в маленьком скрипучем экипаже по пням и камням, под плодовыми деревьями, сквозь стада коз и группы больших индейских петухов. Высокие, загорелые, спокойные женщины в зеленых юбках и красных корсажах, покачиваясь, благородной поступью проходили по дороге, неся на покрытых плотными белыми покрывалами головах медные сосуды. Вокруг широких верхушек деревьев вился виноград. Она была опьянена, сама не зная чем. Она слышала, как бродят соки в растениях, животных, людях. Она видела, как пенится вокруг нее, точно вино, жизнь.

Экипаж задребезжал по камням города. Он остановился у харчевни, в глубине какого-то двора, полного хлама и смеющегося народа. Здесь были светлые, в голубых полосах стены, просторные комнаты и гулкие каменные плиты. Она спросила, где она. «В Капуе».

Проспер, камеристка и повар прибыли вслед за ней и завладели кухней. В городе не было мяса; но ей подали рыбу, вареную и в масле, жареные артишоки и свежий хлеб, яичный грог, большие фиги, лопающиеся и тающие на языке и uve Zibelle, первый виноград.

Затем ее потянуло на улицы, длинные, радостно оживленные. По ним мчался светлый поток радости, разливавшийся за пределы их, по стране. В ветхих притворах важных и пустых церквей ждала насытившихся солнцем тихая тень. На плоских крышах вился виноград. В обнесенных решетками садах, полных высоких кустов камелий, ходили медно-красные петухи. Черноволосые отроки, смуглые и бледные, с большими, обведенными кругами, глазами, лежали на порогах странных порталов. Перед ними кричала белая мостовая, за ними, во мраке домов, поблескивали красные котлы.

Потом она стояла у моста над рекой и смотрела, как бессильно, точно два человека, терялись по ту сторону мостовые быки перед ужасным морем голубого неба и могучими волнами зеленой земли. Весь этот океан врывался между ними, переносился через мост и достигал до ее груди. Она шаталась под напором любви, веявшей из эфира и полей, любви без меры и предела, жгучей, разрушающей и созидающей любви.

\* \* \*

Рано утром она проснулась с ощущением счастья. Яркие цветы на белых занавесках ее кровати кивали ей во сне; теперь они один за другим уплывали в красную пыль утра, застилавшую окно. Внизу с легким топотом, глухо позвякивая бубенчиками, проходили козы. Напротив, в мастерской, раздавался стук молота и пение; золотистый ветерок, проносившийся мимо, разгонял звуки.

Она оставила здесь своих людей, и одна поехала дальше. Кучер щелкал кнутом, лошадь бежала рысью. На груди у нее был колокольчик, за ушами ветки, а на загривке серебряная рука с растопыренными пальцами.

В плодовых садах с навесами из пиний блестела роса. Над дорогой еще висела золотая дымка; она поднялась, и дорогу залил ослепительный свет. Они мчались по пастбищам и полям. Высоко на верхушках ильм колыхался светло-зеленый виноград. В полях теснились деревушки, темные, окруженные со всех сторон шумящими колосьями. А вдали, в дымке горизонта, поднимался голубой, призрачный конус с длинным белым изогнутым хвостом из дыма.

В полуденную жару она поднялась наверх, в старую Казерту. Между виноградом растопыривали свои ветви вишневые деревья и несли свою тяжесть орешники. Пшеница и горчица росли рядом на одном и том же поле. У края его серебрились масличные деревья. Бледные и грациозные, поднимались они вверх по горе. Слой земли становился более тощим, и из-под него пробивались наружу камни. Подле засеянного горчицей, сверкающего зеленью поля лежало другое, вспаханное, ожидающее маиса, мягкое и черное, точно кусок бархата рядом с влажным изумрудом. С торопливым топотом спускалось стадо овец. Длинные шелковые руна колыхались на спинах и бились об ноги. Маленькая девочка несла прут, точно скипетр. Она прошмыгнула мимо, ступая выглядывавшими из-под длинного платья босыми ногами по пыли, поднимаемой стадом. Потом местность стала совершенно дикой и пустынной. В расселинах скал росли только фиговые деревья.

Она вышла из экипажа и пошла дальше пешком. Ее взору открылась земля во всем своем безудержном изобилии. Брызги ее соков доносились до нее.

«Там был апельсиновый сад, перед которым сидела девочка с мягким профилем и длинными ресницами, вся позлащенная блеском плодов. У матери под пышными волосами был внимательный взгляд животного, на лице ее не было улыбки. Перед пронизанной зеленым светом аллеей платанов стоял розовый дом. Я видела оттуда море; между Везувием и Сант-Эльмо мне явились прихотливые очертания Капри... Я находилась на дороге в Аверсу, веселый, пестро разукрашенный город, по мостовой которого со скрипом катятся тележки богатых крестьян, а в украшенных флагами кабачках звенят их талеры... Но имя этого города означает бой, и основали его мои предки.

Мои предки! Они пришли из Нормандии, с туманного моря, жадные к солнцу. Их желания были бесчисленны, как мои. Они стремились, как я, ко всему, что греет, что мягко на ощупь и приятно на вкус, что нежит, манит, доставляет блаженство. И чтобы всем обладать, они топтали и убивали все, смеясь, из одной только любви. Как должны были блестеть их глаза! У них, конечно, были красные щеки, длинные белокурые волосы и широкие плечи. Я думаю, что они были совершенно цельными и очень умными людьми. Они нарушали все договоры, доверяли только своим, выпрашивали княжества в качестве утренних подарков, мешали собирать жатву и торжествовали над умирающими от голода городами. Их голоса звучали так ужасно, что перед каждым из них обращалось в бегство целое войско.

Как они презирали их, этих прекрасных, мягких рабов, которых покорили! Только одного врага они уважали, потому что он противостоял им: то была скала Монте-Казино. Внизу они свирепствовали и любили; наверху, в каменной пустыне, раздавались литании. Наверху задумчивые монахи нагибались над древними пергаментами, точно разыскивали на песке последние следы шагов загадочной чужеземки. А внизу сверкали взоры варваров. Они чувствовали себя скованными этим молчанием; от бессилия и неудовлетворенного желания им было жутко. Они не могли больше переносить этого, они шли во власянице на тихую вершину, которой не могли достичь в латах. Один остался наверху и принял пострижение. Я понимаю его!

Он отказался от всего, потому что и все не могло насытить его. В сладчайшей фиге, таявшей на его языке, скрывалась, сладость, которую он мог только предчувствовать, и за вкус которой отдал бы жизнь. Бархатистые глаза девушек в апельсиновых рощах раздражали его; они были плодами, более зрелыми и более золотистыми, чем те, которые росли вокруг, и он отчаивался сорвать их, — хотя они уже таяли у него на губах. У воздуха были руки и груди, он был сладострастен, как женщина. Рыцарь был полон желания насытить его и исчезнуть в нем. И каждое утро он в бессилии смотрел, как тот отдавался всем...»

Она повернулась к равнине спиной и углубилась в горы. Они были голые, темные, ущелья беспорядочно прорезывали их, образуя обломки, похожие на разрушенные города. Вдруг она в самом деле очутилась перед уцелевшим городом; из источенной стены выбивались алоэ и выползали ящерицы. Крыши, серые и неровные, горели на солнце; над ними возвышалась круглая, толстая башня. Она была изъедена червями и обросла зеленым мохом. Полуразрушенная мостовая образовала впадины, полные холодного запаха гнили; она проходила между черными арками ворот, покрывала кривые грязные площади и доходила до низких порталов церквей. Внутри, на пустых кафельных полах, дробились цветные отражения. У стены, на растрескавшихся подоконниках, притаились безобразные чудовища, вцепившиеся в изможденных грешников.

Она повернула обратно; темноту погреба сменил белый свет солнца. Она поднялась направо по холму, поросшему увядшей травой. Внизу открылся город, наполовину засыпанный мелкими камнями, его узкие дворы, засаженные фиговыми деревьями и обнесенные косыми стенами. «Чудовища с церковных окон, — подумала она, — перепрыгнули через них; они утащили оттуда последних людей».

За ней группа развалин образовала полукруг; она медленно вошла в него, ища тени. Внутри перед растрескавшимися мраморными окнами, висели гардины из плюща. С сетеобразных стен по покатому лугу скатывались мелкие обломки. Она вытянулась на плоском камне, который жег ее. Посреди котловины ветвился уродливый виноградный куст. Она лежала на краю и, когда полузакрывала глаза, ей казалось, что он висит среди горящего голубого неба. Белый камень, блестящий плющ и голубой огонь: она растворялась в них. В ее жилах кипела жгучая радость; ее охватило томление... Издали, из города призраков, донесся рев. Ах! Это чудовища! Они свирепствуют в городе. Заколебался заржавевший колокол. Нет, это только одуряющее молчание полудня. Это только звук флейты Пана.

— Пан!

Она звала его; ее волосы растрепались на затылке, она распростерла руки на пылающей скале. Там, у той линии, возвышается его алтарь; над ним висит флейта... Тише, это его шаги... Она тихонько подняла ресницы: перед ней, перекинув ногу через стену, стоял он сам, косматый, широкогрудый и загорелый, в штанах из козьих шкур, с пробивающейся бородкой и круглыми глазами, пылающими, мрачными и неподвижными. Он крался к ней, вытянув голову. Ее взор под длинными ресницами ждал его. Он хищно и робко нагнулся над ней; от него пахло скотом и богами. Она медленно соединила руки над шкурой на его спине.

Что-то засмеялось в забытой каменной котловине, колебавшейся вместе с ней и с ним в горящей синеве. Она встрепенулась. Наверху, упираясь передними ногами о край стены, возвышался огромный козел, длинношерстый, худой и похотливый.

\* \* \*

Он был козий пастух. Одинокий и неподвижный стоял он среди папоротника и мяты в ущелье, на сухих склонах которого паслись его животные.

— Что ты, собственно, делаешь? Ты всегда стоишь так, скрестив руки?

— Только днем, когда нет тени.

— А когда приходит тень?

— Тогда я делаю вот это.

У его ног лежали только что вылепленные глиняные предметы.

— Покажи мне, как ты это делаешь?

Он сел, поджал под себя ноги и начал лепить, серьезно, равномерно покачивая головой. Он делал пузатые амфоры и называл их «коровами»; о стройных узких вазах он говорил:

— Это красивые девушки.

Он сделал кувшин, выпуклость которого представляла собой человеческую голову с невыразительным, глуповатым профилем. Она заглядывала ему через плечо, следя за тем, как вырастают под его пальцами создания — в таинственный полдень, точно из лона самой природы. Это был Пан. Он искал в глине существ, следы которых потерял две тысячи лет тому назад, и он извлекал из нее сказочных птиц — одних с зазубренными перьями, с узкими, свирепыми головами и большими когтями, других с лошадиными гривами и третьих с мордами морских львов. Показывались также, немного неясно, люди с, козлиными лицами.

Вечером он погнал стадо домой. Козы размахивали полным выменем. Козлы клали им на спину стянутые ремнями жилистые шеи. Молодые козочки прыгали. У стены одного дома, в хлебной печи, он обжег свои горшки. Те, которые высохли на солнце, он искрошил пальцами.

— Почему, почему?

— Не годятся. Не дадут ни гроша.

— А другие?

— Продам внизу.

Один из сосудов разбился.

— Никуда не годится. Плохая земля. О, горе, ни один крестьянин не покупает их больше. Только приезжие, оттого, что не знают.

— Когда ты спустишься вниз?

— Когда вернутся другие.

— Кто это другие?

— Все, кто живет здесь в городе.

— Значит, здесь живет кто-нибудь? Где же они?

— Внизу. Помогают собирать виноград.

— Иди же и ты.

Он резко отвернулся.

— Не хочу. Я остаюсь с козами.

На другой день она сказала:

— Выйди-ка из этих скал, сойди к дороге и посмотри вниз, как там красиво и весело. Там собирают виноград.

Он последовал за ней, неохотно и похотливо. И она увидела то, что хотела: как его дикая и убогая фигура обрисовывалась над пышной, мягкой страной. Он оставался молчаливым и сдержанным.

— Что это там внизу, между лозами?

— Миндальные деревья.

— А рядом?

— Персики.

— А дальше?

— Яблони, груши...

Он посмеивался в промежутках между словами; его щеки стали темнее. В густых массах зелени горели гранаты.

— Орехи... Каштаны... Фиговые деревья...

Он причмокнул.

— А тот маленький белый домик? — спросила она.

Он заметил его, его жадные взгляды вытащили его из яркой зелени, в которой он прятался.

— Кто там живет?

— Ха! Толстяк... и четыре красивых девушки.

Он поднес ей к лицу четыре пальца и засмеялся громко и свирепо — нищий завоеватель, сжигаемый желаниями и в долгих лишениях достаточно зачерствевший, чтобы в один прекрасный день вихрем спуститься со своей голой скалы, и, точно рок, обрушиться на все, что манило и отдавалось.

Она посмотрела на него; в это мгновение она чувствовала себя родственной ему.

— Я поеду вниз!

Она села в свой экипаж; сквозь облака зелени пробивались, сверкая, всевозможные краски. Белые тропинки пестрели народом, скрипели тележки, сияли разгоряченные лица, звенел смех. Огромный чан, переполненный виноградом, черным и золотым, колыхался под зелеными триумфальными воротами. Женщины шумной толпой выходили в поле с пустыми корзинами у бедер. Возвращаясь, они несли их наполненными на голове. В узорной тени листьев босоногие мальчики дрались из-за золотистых ягод, напудренных пылью. У края дороги на коленях стояла девушка, она соблазнительно улыбалась, откинув назад голову, а поющий юноша в белых штанах бросал ей в рот, одну за другой, ягоды с тяжелой кисти, которую высоко поднимал на свет. Он был полунаг, и тело его блестело от жары; на плече у него мускулы собирались складками, на груди они напрягались. Большая кисть шелковисто блестела. Каждая падавшая ягода, красноватая, круглая и влажная, отражалась в глазах девушки, и ее губы обвивались вокруг нее, как две пурпурные змеи. Юноша перестал петь, взгляд его стал неподвижным.

Герцогиня пошла пешком через село. Виноград смыкался над ним, точно над островом. Дети в развевающихся рубашонках, зараженные радостью земли, с криками плясали вокруг навьюченных ослов, грациозно двигавшихся по направлению к току. Через окно бесшумное золото жатвы спускалось на пол. Мускулистые парни хватались за канаты, прикрепленные к балкам потолка; они падали, поднимались вверх и опять скользили вниз, с неумолимым сладострастием топча разбухшее мясо винограда, из которого брызгал сок. Сбившись в огромные гладкие тела, виноградные кисти пустели, истекали кровью и распространяли опьяняющий аромат.

За стеной раздавался неутомимый топот терпеливых животных. Высоко над их головами кивали гроздья винограда, за их копытами приплясывали мальчики. Удушливый, голубой туман носился над равниной, листва казалась светлее, голоса становились пронзительнее, шутки несдержаннее. Дорога была здесь вдвое шире, украшена мостами, цоколями с гербами, аллеями от усадьбы к усадьбе. Сама богиня плодородия, белая, красная и опьяненная, катилась по ней в колеблющейся триумфальной колеснице; герцогиня смотрела ей вслед.

Она остановилась в кипарисовой аллее какой-то виллы. В конце виднелся белый дом, вплетенный в причудливую сеть ветвей сарацинских олив. Она слышала, как переливались в них трели птиц; их заглушал смех девушек, расположившихся на высоком дерне, среди виноградных кустов. Они были гибкие, смуглые, и в жилах у них переливалось вино. Их смявшиеся в складки рубашки были раскрыты над низкими корсажами. Они лежали на полных корзинах, и давили виноград кончиками грудей. Ягодами и шутками они осыпали парней, толпившихся вокруг них, смеялись влажными губами, подавали им плетеные бутылки, забрасывали их венками.

Один из них, молодой, длинноногий, стоял в стороне, под высоким, колеблющимся балдахином пинии, и весь погрузился в мечты. Куртка была наброшена только на левую половину его туловища. Правая была обнажена; розовый сосок выделялся на теплой коже. Шея, обращенная в сторону, бросала глубокую тень под безбородое, страстное лицо. Спутанные волосы блестели; черные густые пряди загибались на висках и меж глазами, под полными тоски бровями томились их темные взоры. Он небрежной рукой поднес к широким, мясистым губам тростниковую флейту. Казалось, сама земля, поющая на солнце, неистовая в наслаждении — мягкая, обремененная плодами и печальная от сладкого томления издала этот звук, сладострастный и замирающий. Он вливал в кровь мучительное блаженство, герцогиня услышала его.

За ней послышалось пыхтение. Пастух со скал крался вдоль древесных стволов; косматый, как зверь, он страстным, жадным взглядом следил за тихой прелестью юноши с флейтой. Он вздрогнул; герцогиня грозно спросила его:

— Откуда ты?

Его голова под густым кипарисом казалась совсем черной. Он оскалил зубы.

— Я приехал с тобой, уцепился сзади за твою коляску.

— Почему ты не с людьми из твоих мест? Почему ты не помогаешь собирать виноград?

Он упрямо смотрел перед собой.

— А что они мне дадут за это? Скверный суп, вот и все.

— А чего же ты хочешь еще?

— Ничего.

Она топнула ногой.

— Чего ты хочешь еще?

Он униженно ухмыльнулся.

— Не сердись, прекрасная госпожа! Я уже взял то, что хотел.

— Что ты взял? Кстати скажи, тебе нравится это имение?

— Ведь я уже говорил тебе.

— Что ты говорил?

— Ведь это то самое, где живут толстяк и четыре красивых девушки. Там в траве лежат девушки, а из дому выходит толстяк.

Издали шел, пошатываясь, тучный старик. На животе у него была красная повязка, лицо пылало. Он поднял, благословляя, плохо слушавшиеся руки над парнями и девушками. Они порхали вокруг него, дразнили и щупали его. Две красавицы с длинными волосами положили ему на лысину венок из виноградных листьев. Сами они были в венках из роз. За ним два батрака тащили гигантский котел, который сверкал и дымился. Все расположились на траве вокруг супа. В кустах зашумел неожиданно налетевший ветерок. Из рук в руки переходила бутылка. Где-то медленно и печально поднялась мелодия, со вздохом пронеслась между замолкшими весельчаками и опять затерялась в высоком дерне. Вдруг зазвенел тамбурин; он стучал и гремел. Вскочила одна пара, за ней другая. Старик в виноградном венке поднялся с земли, заковылял на своих коротких ногах навстречу обеим золотисто-смуглым красавицам — на их щеках играла тень от длинных ресниц — и они начали танцевать. Тарантелла сбросила венки с их голов, они задыхались, старик опрокинулся на спину и долго барахтался, как жук, прежде чем ему удалось повернуться и встать. Аплодисменты и развевающиеся юбки, сплетение нагих членов; смех, поцелуи, а сквозь бледную сеть олив просачивался розовый источник. Он омывал горизонт, затоплял небо; на его волнах плавали главы пиний.

И вдруг из виноградника бурно, стремительно выбежало что-то, грубый, рычащий зверь, быть может, лесной бог, раздраженный запахом дриад. Он бросился на безбородого юношу с полными тоски бровями, который стоял в стороне с флейтой у губ, и увлек его с собой. Они танцевали. Вечернее зарево расплывалось, смех затих: они танцевали. Измученное и горячее тело юноши бессильно лежало, подавшись назад, в объятиях другого: они танцевали. Пары уже падали в траву; наконец, заснула последняя. Но в бледном сумраке, при первом мерцании звезд, носились в пляске две тени: одна короткая, мягко покоряющаяся, другая бурная, требующая.

\* \* \*

С наступлением дня герцогиня опять выехала из Капуи. Она остановила экипаж перед виллой, где смотрела на празднество, и торопливо пошла по аллее. Трава блестела; на ней лежало еще несколько спящих; среди них старик. Она обошла его со всех сторон, внимательно разглядывая; солнце пестрило его лысину, лицо было спрятано между руками. Она приняла решение и потрясла старика за плечи.

— Измаил-Ибн-паша?

Он издал хриплый звук, приподнялся и упал обратно на траву. Она засмеялась.

— Я знала это... Измаил-Ибн-паша! Здесь ваш друг, герцогиня Асси.

Старик сразу сел, протирая глаза. Он прищурился.

— Вы здесь, герцогиня? Очень мило с вашей стороны. Мы так веселились тогда, в Заре, перед вашим бегством. Представьте себе, что с тех пор и я.

Он шумно зевнул, глаза его исчезли. Затем он поднялся совсем пристыженный и недовольный.

— Здесь только и делаешь, что пьешь. А особенно теперь, во время сбора винограда. Так и доходишь до того, что вы, к стыду моему, видели!

— Удивительно то, что вообще встречаешь вас здесь, вас, посланника его величества, султана, при далматском дворе!

— Великолепно, герцогиня, скажите это еще раз: посланника — как дальше? Я стал старым крестьянином и немножко туго соображаю. Да, старым крестьянином, которому это скромное поместье доставляет средства к жизни.

— Поразительно!

Вдруг она вспомнила.

— А Фатма? Принцесса Фатма?

— Она в доме. Мы потом сделаем визит принцессе, принцесса еще спит. А пока я покажу вам свои владения, герцогиня, хотите?

Он шел рядом с ней в светлом полотняном костюме, с красным лицом, окаймленным пушистой белой бородой, и разглаживал красную повязку на круглом животе.

— На этом току вымолачивают маис из початков, здоровое занятие. Рядом помещение, где доят коров... Пойдемте, взглянем на виноградные тиски! Хотите видеть, как бродит барда? Здесь совсем особенный запах. Потом мы еще просунем голову в свиной хлев. Ах, герцогиня, деревенская жизнь!

— Представьте себе, со мной происходит то же самое, я тоже хотела бы сделаться простой крестьянкой.

— Я это понимаю, я это понимаю.

Они прогуливались по обширному лугу, на котором мирно расположились, пережевывая свою жвачку, быки. Паша вдруг остановился.

— Но все-таки это странно. Вы, герцогиня, были самой беспокойной женщиной, какую я знал. Даже за двадцать тысяч драхм ежегодной пенсии я, простите, не взял бы вас к себе в гарем. Мы очень забавляли друг друга, этим я могу похвастать. Как восхищали меня ваши революционные проделки! А приключение с принцем Фили, который теперь стал королем, а когда-то был лакеем у вас. Ах! Ах!

— А вы, паша, ваши рассказы! Вы были, собственно, парижанином, умевшим живописно говорить об ужасах Востока и, иногда, из дилетантизма, принимавшим в них участие. Мне самой хотелось принять участие в некоторых из них! Мы очень хорошо подходили друг к другу.

— Да, да. Самая гордая дама интернационального общества и, смею сказать, бывалый светский человек — и что стало с нами обоими? Вы видите, что все напрасно. Судьба берет нас за руку и вертит кругом; что нам за дело до того, что происходит за нашими плечами? Кораблекрушение выбрасывает нас нагими на новый берег: мы получаем другое платье, а иногда и никакого; такова вся жизнь.

— В этот момент я готова этому поверить.

— Я верю этому уже в течение трех лет... Выпьемте теперь по стакану молока. Потом мы посмотрим, не проснулись ли мои дамы.

Они вошли в квадратную галерею; дом, поднимавшийся этажом выше, помещался в ней, точно в лопнувшем стручке. Во дворе павлин огромным хвостом подметал мостовую. Он подбежал к своему хозяину, забавно изгибая шею с золотисто-синим отливом. Султан на его голове покачивался. Он вспорхнул за ними по отлогой лестнице.

В комнате, в которую они вошли, стоял запах эссенций и пота спавших в ней женщин.

— Madame Фатма, вы знаете меня? — спросила герцогиня.

Фатма тяжело заковыляла к ней. Она изумленно раскрыла детские глаза под накрашенными веками. Она стала гораздо полнее Ее желтоватый пеньюар был расстегнут, под ним виднелась шелковая зеленая рубашка. Она поднялась на цыпочки и приблизила свое лицо к лицу гостьи. Ее дыхание отдавало сильнее прежнего сладким табаком и решительнее — чесноком.

— Нет, — искренне созналась она.

— Подумай, — отечески приказал паша. — Ты встречалась с этой дамой в Заре лет... лет пятнадцать тому назад.

— Герцогиня Асси? — недоверчиво, с заблестевшими глазами, прошептала Фатма.

— Но кто же заколдовал вас? Вы не постарели, нисколько — но вы стали совсем другой. Мне кажется, теперь я знаю вас лучше, чем прежде...

— В самом деле?

— И я совсем не удивляюсь, что вы вдруг очутились у нас Тогда, в Заре, я удивлялась, когда вы приходили. Я даже немного робела перед вами. Вы были чем-то совершенно незнакомым. Никогда в то время вы не бросались так на подушки.

Герцогиня покоилась на двух больших, голубовато-серебряных подушках. Напротив нее на кучу зеленых, с лиловыми цветами, опиралась, почти стоя, высокая, совершенно нагая женщина. Она была менее жирна, чем Фатма, но шире ее, и тело у нее было более плотное. Ее маленькие крепкие груди, широкий, без складок, Живот и бедра, сомкнутые, в мощную массу животной жизни, высоко и медленно вздымались. Неподвижные глаза блестели под грудой черных волос. Они сводом возвышались над низким лбом и тяжелой массой лежали на затылке. Руки были вытянуты по краям подушек и унизаны широкими браслетами, соскальзывавшими на кисти с крупными пальцами. С диадемы свешивалось покрывало; оно, колеблясь, окружало прическу, спускалось вдоль руки, и, описав дугу, падало на колени; прозрачное, как воздух, дрожало оно над слабо блестевшей слоновой костью этого тела. Легкая тень ложилась на бока и сгущалась под мышками.

— Это Мелек, — пояснил Измаил-Ибн-паша. — Моя вторая жена. Третья и четвертая находятся рядом.

Он поднял портьеру из тростника и бус и положил край ее на табурет. Вторая комната была, благодаря полузакрытым ставням, полна зеленого света, а на пороге лежал вчерашний красавец-флейтист, нагой как Мелек; он лежал на боку, подложив руку под голову. Фатма, паша и герцогиня молча смотрели на него; в это время мимо них важно прошел павлин. Он взобрался на спящего, повертел блестящей шеей и спорхнул с другой стороны на пол, в зеленый свет, под шелест своего пестрого хвоста, медленно скользнувшего по узкому, светлому колену юноши.

В то же время из глубины комнаты быстро и грациозно вышла молодая дама в изящном белом летнем костюме, с соломенной шляпой в руке. Она осторожно, подняв юбки, обошла птицу и нагое тело.

— Вот, герцогиня, это Эмина, — сказал паша.

«Ах, — подумала герцогиня, — это та красивая длинноволосая девушка в венке из роз, которая так безудержно танцевала».

Эмина бросила на Мелек и Фатму торжествующий взгляд.

— Вы наги или плохо одеты. Я же была на посту, и я одета.

Измаил-Ибн-паша шарил по всем углам.

— Где же Фарида?

Эмма пожала плечами. Фатма объявила:

— Где же она может быть? Там, где ей весело. Она опять не ночевала дома.

— А этот проклятый маленький неверный, который валяется без рубашки в твоей спальне, Эмина! — пробормотал старик. — Я даю вам слишком много свободы, женушки. Я слишком добр, герцогиня, — добродушный старый крестьянин. Что вы тут натворили? Не спит ли мальчик так, как будто никогда не собирается проснуться?

— Это Мелек виновата, — уверяла Эмина. — Не я самая дурная.

Мелек медленно ворочала своими эмалевыми глазами. Фатма прижалась к мужу, ероша ему бороду ручками.

— Теперь ты видишь, кто у тебя лучшая жена. Твоя маленькая Фатма никогда не выходит из дому. Ей не нужно никого — ни мужчин, ни мальчиков, ни девушек, ей нужен только ты, мой славный толстяк.

— Посмотрите, герцогиня, — торжественно сказал паша с навернувшимися на глаза слезами, — сколько странного и прекрасного скрывается в женской душе. Пока я был богат и запирал ее с сотней рабынь в своем гареме, она доставляла мне столько неприятностей, сколько только могла.

— Самым страстным моим желанием было обмануть тебя в самом гареме, мой милый старичок, но это никак не удавалось... Мне еще до сих пор жаль.

— Но теперь, — докончил паша, — когда она живет в простом крестьянском доме с открытыми окнами и дверьми и нравы в этой бесстыдной стране позволили бы ей все, — теперь она самая верная, самая любящая жена.

Они были оба тронуты и ласково гладили друг друга.

— Как же это случилось, паша, — спросила герцогиня, — что вы стали бедны?

Все молчали. Вдруг у Мелек вырвался низкий звук. Эмина бойко заметила:

— Но, Madame, это достояние всемирной истории. Он натворил таких же глупостей, как и вы сами.

Фатма ревниво оттеснила ее в сторону.

— Не как вы, прекрасная герцогиня. Он поступил гораздо — глупее.

— Конечно, гораздо, гораздо глупее, — пробормотал Измаил-Ибн-паша и, обессиленный постыдными воспоминаниями, опустился на ковер.

Фатма защебетала:

— Он сам своими руками погубил себя. Он до тех пор швырялся своим счастьем, пока не случилась беда! Султан был так расположен к нему, что еще раз поручил ему управлять провинцией: а он ведь уже и в первый раз скопил порядочное состояние. Что же он делает? Вместо того, чтобы класть деньги в карман, он выбрасывает их. Он подкупает всех, он хочет, чтобы провинция восстала и отделилась от империи. Не должен ли был ваш пример, герцогиня, сделать его осторожнее? Все идет хорошо, пока не приезжает тайный доверенный султана с множеством золота и с полномочиями. Я предостерегаю Измаила-Ибн: «Позволь мне послать к нему рабыню; она приведет его с наступлением ночи ко мне в гарем. Я клянусь тебе, что он не сделает мне ничего. Я дам ему сонное питье и отрежу ему сонному голову. Или я отравлю его. Разве твоя мать, великая Зюлейка, не отравила множество мужчин?» «После того, как она насладилась ими», — ответил мне паша. И из ревности он оставляет своего врага в живых, пока тот сам не нападает на него. Тогда ему приходится бежать — ах, я как раз примеряла кружевную накидку, полученную из Парижа. Полюбуйтесь ею, вот она. Она, конечно, разорвана, ведь она была на мне во всех поездках — но как элегантна! Мой остальной гардероб должен был остаться там...

Она заплакала. Измаил-Ибн-паша тяжело вздохнул.

— Еще многое должно было остаться там: все мои поместья, все мои деньги, мои узорчатые ткани, амбары с зерном, которое я продавал только во время голода по очень высокой цене, и все мои мамелюки и весь мой гарем. Друзья поспешно продали его, на выручку я купил это скромное имение. Я-то, старый крестьянин, доволен — но мои четыре прекрасные супруги!

— Мы счастливы, возлюбленный, когда счастлив ты! — воскликнули все трое. С порога скромно повторила четвертая:

— Когда счастлив ты, возлюбленный!

И еще одна красивая девушка в смятых юбках, с растрепанными локонами и жгучими глазами, покачивающейся, томной походкой скользнула в комнату и упала на подушки.

— Так ты опять здесь, Фарида? — с легким упреком сказал паша.

— Для тебя, — ответила она, — я охотно стала бы самой последней рабыней. Почему ты не продал тогда и меня: ты был бы гораздо богаче. Я просила тебя об этом.

— И я просила тебя об этом, — воскликнула Эмина. Фатма топнула ногой.

— Я просила раньше вас.

Мелек издала низкий звук. Паша нагнулся к герцогине и прошептал:

— Они не сознаются в правде, потому что боятся друг друга. Но в действительности каждая обнимала мои колени и молила меня продать трех остальных и взять с собой ее одну. Да, так сильно они любят меня!

Он покачивался из стороны в сторону и сиял.

Фарида выбежала из комнаты. Через пять минут она вернулась, еще непричесанная, но надушенная white rose, и принесла папиросы, чаши и стаканы. Чаши были не из ляпис-лазури, как когда-то, а из фаянса. Но в рахат-лукуме, размягченном водой, герцогиня узнала дивные «яства отдохновения», оставлявшие на языке, на котором они таяли, тихое предвкушение рая. Она подперла голову рукой и, лежа на своих блестящих, зеленых шелковых подушках, напоминавших ей далекие времена, слушала болтовню женщин и тихое воркованье павлина; она видела почтенную фигуру старика и нежные члены юноши и белые облака, поднимавшиеся из кальяна Мелек, — и все это покоилось на золотом фоне сказки. В окно заглядывала пронизанная солнцем гроздь; за окном совершал свою работу полдень. Мечтательная радость лежала в комнате на всем: на шелках и на телах.

— У меня является искушение остаться здесь, — неожиданно сказала герцогиня. — Что, если бы у вас купили ваше имение?

Наступила пауза.

— Я не совсем понял, что вы сказали, герцогиня, — осторожно ответил паша.

— Это не так трудно понять... О, вы останетесь здесь, вы и ваши четыре дамы. Мы будем жить все шестеро здесь в доме. Но за землю вам дадут деньги. Разве вам не было бы приятно опять иметь деньги?

Паша долго покачивал головой; жены смотрели на него, затаив дыхание.

— Я не стану отрицать этого, — наконец, объявил он. — Это было бы мне приятно. Я признаю также, что я, старый крестьянин, никогда ничего не понимал в сельском хозяйстве. Здесь имеются известные трудности, например, подати. Я привык брать их у других; теперь я должен сам платить их: я слишком стар для таких вещей.

— Вот видите.

— И у вас есть покупатель, герцогиня, который был бы согласен и способен исполнять здесь всю работу, в то время, как мы будем отдыхать?

— Покупатель...

Она вскочила, смеясь над собственным капризом, и подбежала к окну.

— Вот он там развалился, наш покупатель! — воскликнула она.

Женщины выглянули в окно; трое из них прибежали в одно мгновение, Мелек подошла не торопясь. Паша смотрел из-за ее плеча. Во дворе под одной из аркад, на солнце, лежал, свернувшись, пастух с гор. Его загорелое лицо выглядывало из облезлых черноватых шкур, точно из дряблого меха. Он сурово и неподвижно смотрел вверх: там смеялось шесть лиц. Женщины кричали от удовольствия, откусывая широкими белыми зубами ягоды с виноградной кисти у окна. Острый язычок Фариды целовал сквозь прозрачный рукав руку герцогини, скользя по ней все выше, до самого плеча. Мелек сзади прижимала ее к своим твердым маленьким грудям.

Вдруг раздался свирепый визг павлина. Шум разбудил юношу, и он столкнул птицу. Он встал, и, приложив одну руку к заспанным глазам, в другой держа флейту, подошел к ним, — золотистый, мягкий, влекущий и томный. Женщины перестали смеяться. Он опустил глаза, заметив свою наготу. Чтобы оправиться от смущения, он поднес флейту к губам. Они слушали его. Затем они дали ему пирожных: ему и павлину.

\* \* \*

Когда женщины объяснили дикому козьему пастуху, что это поместье, на котором он последние двадцать четыре часа жил объедками — его собственное, он оскалил зубы. Мало-помалу он понял, что над ним не смеются. Он куда-то побежал и вернулся с тележкой, полной винограда.

— Это я взял себе! — ухмыляясь пояснил он герцогине. — Теперь оно, значит, мое по праву.

Он напряженно осмотрелся и сейчас же набросился на нескольких парней, стоявших без дела.

— Сейчас за работу!

Праздничной беспечности в поместье Измаила-Ибн-паши пришел конец. Алчный варвар завладел мягкими людьми золотого века. Они безропотно подчинились ему; он, как патриархальный деспот, выказал себя очень милостивым по отношению ко всем женщинам, а также к красивым парням. Он жил среди них, в грубом холщовом костюме, немного смягчившийся, полный сурового добродушия, вечно распевая грубые песни. Он делал вместе с ними лепешки из поленты, пек их над углями на плоском камне и глотал горячими, как огонь. Он готовил им похлебку с цикорием и луком. Те, которых он заставлял любить себя, не получали ничего лучшего.

Герцогиня часто ходила с ним в поле. Его худая, точно вылитая из стали, фигура нагибалась и поднималась вместе с ударами заступа. За коричневой нивой по волнистому холму, на вспаханных террасах, поднимались тихие, как тени, масличные деревья. Их корни, точно с трудом двигавшиеся ноги, тащили вверх тяжесть масла, в котором утопал склон. Они были красотой и богатством этой страны!.. Сладострастие столь тяжелого плодородия совершенно размягчило и обессилило их. У их корней, под застоявшейся водой, образовались очаги гниения. Насекомое с желтой головкой, воевавшее с ними, проникало в их плоды и оставляло в них свои яйца. Железо садовода выдалбливало их ствол — но они хрупкими извивами поднимали его зияющие пустые стены к свету. Пепельная зелень их глав покоилась в нем, серебристо улыбаясь, как уже тысячу лет, — и улыбаясь, не склоняясь ни перед чем, кроме холода, они свершали чудо новых урожаев.

Она часто отдыхала в тени. Подле нее, в дроке, круглились большие свежие арбузы с красными трещинами; ей стоило только протянуть руку, и сок капал на нее. Мимо нее тихо бежал ручей. Наверху, над заборами, в длинные беседки из виноградных лоз спускалась темнота. Листья вплетали в нее светлые узоры. По ту сторону в гибкой синеве высились прозрачные горы. Герцогиня отдыхала, полураздетая, опустив ногу в воду. К ее обнаженному локтю прижимался ягненок. Медленными, неровными шагами проходили мимо нее, поодиночке или парами, старые овцы и бараны с головами, точно вышедшими из мифов. За ней с треском бросались в заросль козы. Старый козел, фантастически скаля зубы, вытягивал свою костлявую голову. Вдыхая острый запах, исходивший от животных и трав, она думала:

«Я точно ослиная шкура, прежде чем ее нашел принц. Не спустилась ли я, как она, чтобы уйти от мучений любви, с террас моей виллы, в лунный свет, не видя цели пред собой? Мне кажется, что в ту ночь меня увез сюда в тележке баран. Ах! Ходить по грязи, научиться переносить солнце, сидеть босой и глядеть на свое отражение в воде: — сегодня я не хочу ничего другого. Те бронзовые фигуры, между солнцем и нивой, которыми я когда-то наслаждалась в Далмации и Риме, как грезами, а в Венеции, как картинами — теперь я замешалась в их толпу, жаждущая, и нетребовательная. Я устала — и в грубой любви этого животного-полубога я отдыхаю от нечеловеческой мечтательности стольких лет, от их невыразимой возвышенности, от их страстей, которые кончались так горько, и от всего, что далеко от природы. Теперь я тихо лежу в траве и хочу только, чтобы она закрыла меня всю и чтобы я чувствовала уже, погребенная, в своей груди движение соков этой земли».

Потом герцогиня и крестьянин бок о бок возвращались домой по темнеющей равнине. Вечернее зарево, точно закоптелое, прорывалось сквозь сумеречную дымку. Наверху расплывалось и расползалось пурпурное облако. Все вокруг трепетало от страха перед ночью. Масличные деревья своими искаженными тенями устремлялись вперед; они убегали, откинув назад верхушки, точно седые волосы: но не могли ни упасть, ни убежать. Далекий, чуткий мрак окутывал путника своей пеленой. Он поднимал его, он делал легче его мысли и чувства. Они вступали на длинную деревенскую улицу. Направо и налево, до самых нив, тянулись мрачные дворы. Вдали виднелся манящий огонек, одинокий, затерянный в обширной равнине. Они добирались до него наконец, ослепленные, усталые, счастливые.

И снова утренний ветер врывался в ее окно, звенел серп, и золотой, как полные колосья, начинался новый день.

Она купалась с Мелек в пруду у горы. Сверху бил источник, а внизу, среди листьев лотоса, стояла Мелек, ослепительно белая на фоне темных кустов. Струи бежали с ее плеч и сбегали по крутым бедрам, она вынимала из волос стебли травы; казалось, лучи исходили из ее грудей, которые она сжимала обеими руками. Герцогиня лежала немного поодаль на песке, подняв голову над водной гладью, и смотрела на высокую женщину. Красота искрящихся капель, среди зелени кустов, у пруда, отражавшего синеву неба, делала ищущую странницу такой же серьезной, молчаливой и лишенной желаний, какой была та в своей животной невинности, среди женщин гарема.

Она купалась с Эминой и Фаридой, которые ни минуты не оставались спокойными и покрывали поцелуями все ее тело.

— Мы из Неаполя, надо тебе знать. О, мы не так неопытны, как Мелек. Наша мать предлагала нас на Толедо мужчинам: нам было всего по десяти лет. Однажды ночью какой-то старик взял нас к себе домой. Он украл нас — о, мы не очень убивались — и продал нас в далекие края, в очень большой город — мы не знаем, как он назывался — могущественному богачу. Тот научил нас разным ухищрениям, и, когда мы показались ему достаточно умелыми, он послал нас в подарок султану, с которым хотел обделать какое-то дело. Но по пути мы попали в руки Измаила-Ибн-паши, и он оставил нас у себя. Так как мы были очень искусны, то сделались его женами. Вот наша история.

— Скажи, красавица, показать тебе искусные игры, которыми мы должны были заниматься с богачом? Или те, которым он научил нас для султана? Всех не знает даже Измаил-Ибн. Тебе мы их покажем... Нет, ты не хочешь? Жаль.

— Садитесь туда, ты на тот камень, Эмина, ты, Фарида, на этот. Я останусь здесь. Пусть волны тихо плещутся у наших ног и перекатываются от одной к другой.

Она улыбалась им и думала:

«Не люблю ли я больше всех ваших ласк отражение в воде, Фарида, твоих медно-красных, высокоподнятых волос и твоих розовых ног? Не сладостнее ли видеть, как твои темные локоны, Эмина, развеваются вокруг твоих теплых грудей, которые устремлены вперед, навстречу ветру, и как ты высоко поднимаешь чашу, в которую сестра твоя, стоя на кончиках пальцев, капля за каплей выжимает ягоду винограда?.. Подождите немного, уже становится темно, всходит луна, — тогда я увижу вас, голубых от волос до кончиков ног, увижу, как бы будете сидеть, поджав под себя ноги, как соберутся мягкими волнами ваши груди, талии, животы, увижу ваши профили под тяжелыми прическами, с вытянутыми шеями, со взглядом, устремленным за пруд, сквозь тяжело нависшие деревья в лунную страну...»

И в заключение своих грез она спрашивала себя:

— Ведь я не могу насладиться вами вполне, ведь в сладчайшей фиге, тающей на моем языке, скрывается сладость, которую я — если бы даже отдала за нее свою жизнь — могу только предчувствовать. Так не более ли глубокое сладострастие — закрыть глаза, как сделал тот, ушедший в монастырь!

Иногда она в своих прогулках доходила до моря. Ее знали в плодовых садах, на дне прибрежных долин и в лавровых рощах на хребтах холмов, где носился соленый ветер. Бегло проходила она мимо, как неожиданную усладу раздавая золото и любовь прекрасным существам, — и в изумлении, с блестящими глазами смотрели они ей вслед. Она, со своими высоко поднятыми волосами, полными плечами и узкими бедрами, казалась им заблудившеюся нимфой. Ее кожа сверкала, точно покрытая морской пеной. В ее следах, казалось, оставались хлопья ее.

Как-то раз она взяла с собой юного флейтиста. Это было утром; герцогиня видела их окна, как перед житницей, в красной осенней листве, на него, точно обезумевший от желания волк, напал крестьянин. Герцогиня грозила и приказывала до тех пор, пока он не оставил своей добычи, ворча, но укрощенный. Теперь юноша сидел в коляске у ее ног. Его мясистые губы были полуоткрыты; он не отрывал от нее страдальческого взгляда хрупкого животного, которое слишком много любили.

— Как заманчиво целовать его — и как сладко не делать этого. Не благодарен ли он за это мне, мне, которую он желает?

Вечером она лежала на покрытой длинными темными травами скале, нависшей над морем. Оно глядело на нее снизу тихими, призрачными глазами. Горы расплывались в вечерней дымке, корабли призрачно прорезывали ее, птицы, запутавшиеся в ней, казались серебряными. Она только что выкупалась; он накрыл ее покровом из красных цветов. Он стоял под ее скалой, приблизив свои губы к ее губам, и пел жалобную мелодию. Она начиналась высокой нотой, потом, спускаясь вниз, замирала на трех печальных, все повторявшихся звуках. Казалось, вся тяжесть скорби вечно длящегося блаженства обременяла ее.

— Тебе холодно? — спросила она. — Скоро зима... Как ты бледен! Скажи мне, ты бываешь иногда счастлив?

— Никогда, — слабо ответил он. — Ведь они любят меня все.

— А ты?

— Если бы я любил тебя? — сказал он, как будто обращаясь к самому себе. — Было бы мне хорошо? Был бы я счастлив?

Она положила свои губы на его и привлекла его в свои объятия, ласковая и мягкая. Он не сопротивлялся и весь дрожал. Она чувствовала сама среди горячего объятия трепет холода и веяние разрушения в полноте сладострастия.

\* \* \*

Она еще спала; в комнату вбежала Фатма и с плачем разбудила ее.

— Бедный мальчик умер!

— Уже умер?

Они все любили его, пока он не умер.

Толстая женщина рвала на себе волосы, ломала руки и закатывала глаза.

— И зима уже наступает.

Герцогиня подошла к окну. Напротив, вокруг сарая, в котором стояло ложе юноши, с шумом прохаживался большой, золотисто-голубой павлин. К сараю торопливо подошла женская фигура, с закутанным лицом, с опущенной головой; она взобралась по приставленной лестнице; это была Фарида. Затем, прерывисто дыша, пришла девушка из соседнего именья. Показалась Эмина с покрасневшими веками. Подошли другие, служанки, пастушки, владельцы поместий, одни под вуалями, нерешительно, другие вне себя, громко говоря и жестикулируя; последней пришла Мелек. Они ждали у подножия лестницы; одна взбиралась наверх, убитая горем и страхом, другая возвращалась назад, просветленная благодарной скорбью, в последний раз осчастливленная созерцанием того, кого все они жаждали так часто, кто доставлял им удовольствие все лето, и кого они оплакивали теперь, когда стало холодно.

К ней в комнату вошел крестьянин.

— Ты довольна, госпожа?

— Чем?

Она осмотрелась.

Стены и пол были выбелены и чисто вымыты, на столе стояли цветы.

— Это ты сделал?

— Это сделала Аннунциата, она ждет во дворе, она хочет представиться тебе.

— Вот эта, что стоит у дверей? Она слишком толста, пусть не входит, от нее, верно, нехорошо пахнет.

Он закрыл дверь.

— Ты права, она немного слишком толста. Не то чтобы я имел что-нибудь против жирных женщин, но она уж чересчур жирна.

— Ну, служанкой это не мешает ей быть. Жениться тебе на ней ведь незачем.

— В том-то и дело. Я должен был жениться на ней... Да, пойми меня: чтобы получить ее землю. Это было необходимо.

— А! Она твоя соседка? И чтобы округлить свое имение, ты женился на ней, пока меня не было здесь?

Она смеялась, искренно развеселившись. Он опустил глаза, бормоча:

— Она слишком толста, я сознаюсь в этом. Мне нравятся ни худые, ни толстые, — как ты, прекрасная госпожа. Но надо иметь терпение. Будь довольна, тебе будут прислуживать лучше, чем до сих пор!

— Ну, все хорошо, раз вы сами довольны.

— Мы будем довольны все трое.

— Пока помоги мне уложить вещи или пошли мне служанку.

— Ты опять едешь к морю?

— Я еду в Неаполь, я буду там жить.

— Ты покидаешь меня? Я разгневал тебя — может быть, своей женитьбой?

— Нисколько. Я еще прежде решила это сделать.

Он преклонил одно колено и громко вздохнул.

— Не делай этого. Твой раб просит тебя.

— Это лишнее, встань.

Он вскочил на ноги и вцепился всеми десятью пальцами в свои лохматые волосы.

— Ты вводишь меня в беду! Ведь я обещал ей, что ты останешься здесь. Иначе она вовсе не взяла бы меня.

— Так я главное условие в вашей сделке? Ну, ничего, вот деньги. Она не выцарапает тебе глаз.

— Ты, может быть, не совсем довольна мной? — спросил он.

— Я всегда была довольна тобой.

Она вынула из портфеля пачку ассигнаций; его глаза сверкнули. Она наложила ему полные руки.

— Всегда довольна, — повторила она. — Поэтому ты и получаешь особое вознаграждение.

Она вспомнила, что часто видела его мертвецки пьяным, часто он возвращался с драк израненный и избитый врагами, завидовавшими его счастью, часто бывал тупым, упрямым, настоящим зверем — но никогда он не возмущался против нее. Он видел ее насмешливой, добродушной, страстной, веселой или совершенно чуждой, и всегда он смотрел на нее снизу вверх.

Он тихо вышел, потирая голову. Жене, которая подслушивала, он сказал:

— Она — госпожа, надо быть терпеливыми.

Но женщина бушевала целый день.

Вечером в ее комнату вошел Измаил-Ибн-паша.

— Какое удивительное совпадение, герцогиня, что вы едете в Неаполь.

— Как это?

— На днях — я получил известие — туда приезжает и король Филипп со своим министром.

— Наш Фили?.. С Рущуком, моим придворным жидом?

— Они самые. Кроме того, в Неаполе умер турецкий генеральный консул.

— Что вы говорите! И какой у вас торжественный вид, Измаил-Ибн. В черном сюртуке и лакированных башмаках — вы, старый крестьянин?

— Заметьте еще, что Порта собирается сделать значительный заем и при этом совершенно не сможет обойтись без содействия Рущука.

— И что же это все означает?

— Все это может означать только то, что одного вашего слова, герцогиня, министру Рущуку и заступничества великого финансиста перед оттоманским правительством достаточно, чтобы приговоренный к смертной казни и живущий в изгнании Измаил-Ибн-паша снова попал в милость к султану и был назначен генеральным консулом в Неаполе.

— Был назначен?

— Да, герцогиня, был назначен. И чтобы он получил обратно такую часть своего прежнего имущества, чтобы быть в состоянии прилично содержать своих четырех жен... Я был старым крестьянином и был доволен этим. Но вы видите, все напрасно. Судьба берет нас за руку и вертит кругом. В течение трех лет она позволила мне вести скромную деревенскую жизнь, теперь она снова обрекает меня свету и его утомительным почестям, Я покоряюсь.

В комнату, переваливаясь, вошла Фатма.

— Я тоже покоряюсь. Если бы мне было суждено это, как охотно я осталась бы здесь! В течение трех лет я почти не покидала этой виллы и своего дивана. Что мне из того, что я буду лежать на диване в мраморном зале? Я принцесса из княжеского дома, здесь, как и там. Не права ли я, прекрасная герцогиня?

— Совершенно.

— Другие жены паши происходят бог знает откуда и должны наряжаться. Я не обращаю на наряды внимания, пока они не приходят сами собой. Теперь у меня скоро будет новая кружевная накидка.

Она замечталась. В комнату впорхнули Эмина и Фарида; они болтали, смеялись и расточали поцелуи.

— Мы взяли бы его с собой! — вдруг сказали они и, плача, упали друг другу в объятия.

Чарующая фигура умолкшего флейтиста вдруг встала на пороге новых переживаний — и осталась за ним.

Герцогиня открыла дверь; от замочной скважины отпрянула голова крестьянки.

— Вы можете послать в Капую. Пусть мой экипаж и слуги будут завтра утром здесь.

— Госпожа герцогиня не уедет, — тотчас же сказала женщина дерзко-просительным тоном.

— Идите.

— У меня есть письменное обещание, что вы останетесь здесь.

— Орест! — крикнула герцогиня одному из работников. — Тотчас же в Капую!

Она пошла в сад. Крестьянка, в ярко-красном платье, бесформенная, изрытая оспой, шла за ней, размахивая руками.

— Вы обещали это, сказал он мне. Если вы уедете и не будете ему больше ничего давать, он больше ничего не стоит. А я могла выйти замуж за богатого старика Орквао! Вы могли бы остаться здесь до самой смерти, с вами обращались бы хорошо. Но вы должны уехать. Почему? Вы не отвечаете? Не хотите говорить со мной? Но вы, верно, сами не знаете этого. Никто не знает этого. Это одна из прихотей дам — этих проклятых дам. Вас нужно убивать!

В боковом саду, среди обширной рощи апельсиновых деревьев, возвышался маленький бельведер; между узкими каменными стенами вилась лестница. Герцогиня быстро поднялась по ней. Крестьянка хотела последовать за ней, но не могла протиснуть своего тучного тела между узкими перилами и долго с плачем призывала всех святых. Затем она снова принялась браниться.

— Вы только и знаете, что обманывать, бессовестные! И стыда у вас нет. Я знаю вас, в Неаполе я нагляделась на вашу жизнь... А ты хуже всех! Ты не слышишь меня? Висит в темноте над стеной, белая, как дух, и притворяется, будто никого не знает. Ничего, я буду кричать, пока ты не услышишь. Разве ты не взяла себе моего мужа и всех остальных? Что умер красавец-мальчик, в этом виновата ты. Каким ты привезла его нам домой? А?

Она помолчала; в беловатом сумеречном свете она едва различала очертания фигуры. Она видела только бледное лицо, выделявшееся на черно-синем небе и окруженное мерцанием разбросанных звезд.

— Ты колдунья! — вдруг крикнула женщина. — Ты заколдовала всех мужчин и всех женщин; все они только и хотят удовольствий. Все помешались на любви, и все сходят с ума по твоей любви. Они ничего не делают и с кипящей кровью ждут на дороге и за изгородями, не пройдешь ли ты мимо. Видано ли когда-нибудь что-нибудь подобное — страна, в которой звери спариваются зимой. Вино так черно в этом году и опьяняет, когда только понюхаешь его. И столько плодов, сколько у нас этой осенью — тут дело нечисто. Смотри, какие большие уже стали апельсины, и как они уже пахнут! Это сделали не святые. Никто не призывает их, — тебя призывают они, тебя, заколдовавшую всех их!..

Вдруг крестьянка остановилась, испуганная своими собственными словами. Она смотрела наверх с раскрытым ртом и выкатившимися глазами, охваченная суеверным страхом тех безвестных рыбаков, которые в белой девочке над скалами замка Асси узнавали Морру: ведьму, которая живет в пещерах, носит башмаки из человеческих жил и пожирает человеческие сердца. И перед призраком во мраке, недоступно брезжившим среди хоровода плодов и звезд, женщина с криком упала на колени. Она схватилась за голову, спотыкаясь, поднялась и побежала прочь, крестясь и крича.

II

В гостинице в Капуе ее встретил элегантный и пылкий молодой человек, представившийся ей: Дон Саверио Кукуру.

— Сын моего старого друга, княгини? Почти невероятно. И так молоды? Вам теперь... лет тридцать? Как поживает ваша мама?

— Maman умерла, она слишком любила жизнь. Вы, вероятно, помните, она хотела непременно дожить до ста лет, и ее поступки становились все более сомнительными, это должен признать собственный сын, если он порядочный человек.

— Я знаю, это были дела со страхованием — а также сообщения далматскому посланнику о моих предприятиях. Старая дама становилась очень красной и и сердитой, когда говорила о деньгах, которые ей должен был мир и которые она хотела завоевать. Однажды она толкнула меня клюкой...

— Она становилась все более красной и сердитой, а ее предприятия делались все сомнительнее. В конце концов ее привлекли к суду, но она вовремя умерла от удара.

— Бедная княгиня! А ваши сестры?

— Лилиан — знаменитая артистка.

— А!

— Винон вышла замуж за великого поэта. Что вы хотите, герцогиня, брак по любви... Но вы сами, герцогиня, вы всегда занимали мое воображение, я могу вас уверить, с самого детства. Какой странный и счастливый случай, что я неожиданно встречаю вас в этим глухом углу!

Она вспомнила: «Его мать рассказывала, что он живет на счет женщин, — уже тогда. Какой интересный человек должен был выйти из него за это время!» Она была обрадована и произвела на него впечатление недалекой женщины. «Неужели она не знает, — подумал он, — что в Неаполе говорят о ней. А о том, что я по уши в долгу, она могла бы догадаться сама, так же, как и о том, что я сижу в этом кабаке не для удовольствия, а потому, что она должна была проехать мимо. Никогда я не думал, что так легко водить за нос знаменитую герцогиню Асси».

Они пообедали вместе и умчались в увенчанной гирляндами цветов коляске, с полупьяным кучером, который громко покрикивал на лошадь и щелкал бичом. На шее лошади звенели колокольчики и лежала серебряная рука. Мимо прошла старая женщина с воспаленными глазами. «Ничего не значит!» — воскликнул князь, повторяя слова какого-то рискованного рассказа, и повертел роговые брелки на своем жилете. В густом саду у дороги, полном поздних роз, они вышли отдохнуть. Между ползучими растениями стоял пустой цоколь. Герцогиня оглядела своего спутника. У него были ласкающие миндалевидные глаза. Он был очень бел, бритый подбородок бросал голубовато-черную тень на его лицо. Он умел чередовать сладострастные позы с очень мужественными. Звуки его голоса баюкали женщину, слушавшую его; ей казалось, что она покоится на ложе из роз и цветов миндаля.

— Там, наверху, должны были бы стоять вы, — вдруг сказала она.

Он разделся, прежде чем она могла прибавить слово, и вскарабкался наверх. Он стоял в позе юного Вакха, с виноградным листом за ухом, и лицо его тотчас же приняло внимательное только к себе самому и безучастное ко всему остальному выражение. Цоколь был его миром, он был мрамором, нечеловеческим в своем совершенстве. Герцогиня, почти не думая об Этом, провела рукой по его коже. Она была точно согретый, прорезанный жилками камень. Вдруг статуя ожила. Она качнулась к ее плечу и, сделав хорошо рассчитанный прыжок, упала вместе с ней на дерн.

Они рассмеялись и, очень счастливые, поехали дальше в сверкающем полуденном свете. Герцогиня старалась вспомнить, где она видела кого-то, похожего на него. Суеверный и наглый бандит, сквозь потайную дверцу забравшийся в ослепительного мраморного бога, — кто же это?.. А! Пизелли, Орфео Пизелли, возлюбленный Бла!

До самых городских ворот дорога шла меж виноградных садов со стройными лозами. Потом они въехали в город и покатили по его кривым улицам, сквозь толпу оборванцев и красивых девушек, точно по большой, очень грязной клетке, у железных прутьев которой на пестрых птичек охотятся обезьяны. Герцогиня видела это впервые и испытала неожиданное удовольствие.

— Что за улица! Она все поднимается, поднимается. Здесь даже лестницы! Мы должны выйти из коляски... По обеим сторонам ступенек возвышаются груды цветов для продажи, наверху над самой дорогой развевается разноцветное белье, все в лохмотьях, освещенное солнцем. Фиолетовое небо сияет над грязью, гримасами, пестрым хламом. Ужасные берлоги зияют своими дырами рядом с дворцами старинной пышности... Вот тот, на углу бульвара, вымощенного камнями из лавы, наш? Я рада! Он перегружен арабесками, они так тяжелы, что кариатиды изнемогают под их тяжестью. Рядом звонят в причудливой пузатой церкви. Тут звон со всех сторон, и крики, и ржание, и бормотание молитв, тут предлагают плоды и тесьму для ботинок, просят денег, шепотом делают подозрительные предложения, крадут, прикалывают нам цветы к платью, — я уж ничего не сознаю: это оглушает меня.

— Войдем же в наш дворец через этот портал, построенный для великанов. На пороге валяются забавные карлики, от них плохо пахнет. Почему вы толкаете их ногой, Саверио? Оставьте их!.. Какой вид на лестницы, перекрещивающиеся в высоте, на балконы, опирающиеся на колонны. Имеет ли это какой-нибудь смысл? Или это каприз праздных бар?.. Нет, это имеет смысл: вы видите, как вдруг все наполняется народом. Они обгоняют друг друга, они скатываются вниз по перилам, все они в золотисто-коричневых ливреях. Мы, должно быть, очень богаты.

— Здесь, наверху, я с трудом прихожу в себя, вспомните, что я много недель провела в деревенской глуши — здесь, на обширных полированных полах между высокими бело-золотыми дверьми не видно ничего, кроме штукатурки и золота, голубых фарфоровых ваз, выложенных мозаикой, столов, плафонной живописи: как все это велико и как ничтожно! Бросимся друг другу на грудь так, чтобы стало больно! Знатные господа, которые делали это здесь до нас, были, вероятно, такими же проворными, забавными зверьками, как их народ, и насмехались над княжеским титулом. Почему-то во всем это смешное величие: я начинаю восхищаться им. О! Это наша спальня, милый? Она огромна, как поле битвы! Красный шелк и золото, а над кроватью изгоняют Агарь. А герб красуется даже на дверце ночного столика.

Она лежала на величественном диване и смеялась. Дон Саверио, чтобы что-нибудь делать, с обожанием преклонил перед ней колени.

— Я вспоминаю комнатки в одно окно, в которых я жила в Венеции. На мраморной раме низкой двери была изображена я сама, на эмали, в греческой одежде с цитрой в руке... Это было немного более гордо, чем все это здесь... Но что в том?.. Позвоните, пожалуйста!

Тотчас же примчалась вся толпа, точно бежала одновременно на руках и ногах, — во главе ее ухмыляющийся, скользкий, как угорь, проворный старик с серыми бакенбардами и черными бровями. Она сказала:

— К обеду сделайте заячий паштет. Подайте также бананов и — ну, я вспомню потом. Марш!.. Вы, вероятно, не знаете Саверио, там я питалась только полентой и жесткими курами... Альфонсо, еще одно! Дайте мне знать, когда будет готова ванна. Пусть ее надушат пармскими фиалками.

— Все будет исполнено, ваша светлость, — кричали они всей толпой после каждого ее слова, прыгая и кривляясь.

— Я сам буду, иметь честь проводить вашу светлость в ванную, — заявил мажордом, кланяясь, как финансист. При этом он не отрывал взгляда от глаз принца.

Больше он не приходил. Она позвонила; обед был готов. Не было ни бананов, ни заячьего паштета, и причины, на которые ей сослались, показались ей недостаточными, но все поданное было превосходно. Ванна, которую ей приготовили позднее, была сильно надушена, но не пармскими фиалками; она находилась тут же в спальне, за несколькими ступеньками. Герцогиня вошла в нее; зашумела портьера; из-за нее выступил дон Саверио, весь точно из мрамора.

\* \* \*

Утром она высунулась из окна, между огромными каменными фантазиями фасада: улитками, детскими головами, мордами и хвостами драконов. Рядом, на причудливо выпуклом церковном портале, восседали на конях ангелы с трубами. Голуби подлетали и садились, точно в волшебном лесу, полном каменных растений и чудовищ.

Улица сверкала и жужжала на утреннем солнце. Вверх посмотрела молодая девушка; на руке у нее была большая корзина с бельем. Она была смуглая, маленькая и гибкая. Черные волосы были высоко подняты и связаны узлом; глаза были теплые, кроткие, как у газели.

«Мне хочется поцеловать ее в приплюснутый африканский носик, — подумала герцогиня. — К тому же она может быть моей прачкой».

Она сделала знак девушке; та радостно кивнула головой и впорхнула в ворота. Герцогиня ждала; наконец, она потеряла терпение и спросила своего камердинера, статного, полного достоинства человека. Он ничего не видел; лакеи в передней и на лестнице то же самое. Быть может, девушки на галереях, в запутанных коридорах? Они со смехом и пением носились по ним; они были так любопытны и перегибались через перила при каждом шаге на лестницах. «Нет!..» А величественный швейцар с бритым тройным подбородком? Он ничего не знал. Герцогиня была озадачена. Как мог человек, на ее глазах перешагнувший через порог ее дома, бесследно исчезнуть? Проспер, ее егерь, делал многозначительное лицо и молчал. Она заметила отсутствие своей камеристки.

— Где же Нана? Она еще не вернулась?

— Вернется ли она когда-нибудь? — сказал Проспер.

— Сегодня утром мне прислуживала другая, очень ловкая девушка. Она сказала мне, что Нана попросила отпустить ее посмотреть Неаполь, что меня очень удивило; Нана поступает обыкновенно иначе, когда хочет уйти. Где она может быть?

— Кто знает? — возразил Проспер. — Кто знает, где теперь был бы я сам, если бы не носил револьвера в кармане.

— Что ты говоришь?

— Когда я вчера вечером вернулся домой, Чирилло, портье, не хотел впустить меня. Герцогине я больше не нужен, сказал он. Конечно, я засмеялся ему в лицо и сказал: «Я сопровождаю герцогиню с самой Далмации, где она была королевой; ею она и осталась, и меня она не прогонит»...

— Я и не сделаю этого.

— Но сейчас же меня окружила целая куча этих обезьян и стала размахивать руками. Я должен был показать им оружие.

— Это очень странно, — сказал она. Но прежде всего она находила забавным веселый водоворот пестрой улицы, которая, чтобы служить ей, вливалась в ее дом, высоко вздымаясь по величественным ступеням. Проворная, желто-черная толпа лакеев, камеристок и горничных, поваров, грумов, кучеров и подметальщиков возбуждала в ней любопытство своими наглыми шутками, низким смирением и тайными проделками. Это была новая разновидность народа. На все ее приказания они отвечали: «Все будет исполнено», и все делалось хорошо, но иначе. Они ползали перед ней на брюхе, а, как только она отворачивалась, показывали ей язык. Ее камеристку они украли у нее. Ни один не выдавал другого, они держались друг за друга, как держатся хвостами обезьяны в клетке. «Я попала в царство говорящих животных», — думала она.

Она наблюдала за принцем среди людей, которых он нанял для нее. Они гнули спину перед ним меньше, чем перед ней, госпожой; но они внимательно следили за его глазами. Вероятно, они и обманывали его меньше. Она давала денег, сколько он просил, и ни о чем не спрашивала. Она забавлялась, как когда-то ребенком, в своем одиноком морском замке, своей бесчисленной челядью. Один торт был особенно удачен.

— Шеф сам делал его, — заметил Амедео, камердинер.

— Я хочу поблагодарить его.

Проспер стоял в конце зала. Он исчез и вернулся с невысоким, миловидным подростком, который снял свой бумажный колпак и непринужденно поклонился.

— Это я, милостивейшая герцогиня, испек торт, — сказал он, делая при каждом слове новую гримасу. Принц тоже оживился.

— Вот так комик! Спой-ка что-нибудь!

— Этот мальчуган великолепен, я хочу сегодня опять послушать его! — сказала она на следующий день. Проспер пошел за ним: маленький кондитер исчез. Герцогиня и егерь молча переглянулись. Между тем явился высокий рыжий повар и объявил, что всегда все торты делает он сам. Такого мальчика, о каком говорит герцогиня, никогда не было в доме.

— Кто знает? — спокойно сказал дон Саверио.

— Меня ждут в клубе, — прибавил он. — Проспер, мой плащ.

Проспер принес его, и принц собрался уходить. Вдруг он сунул руку в карман и остановился.

— Мой бумажник! Должно быть, он выпал в гардеробной, посмотрите-ка, Проспер... Что, нет?

— Нет, ваше сиятельство.

— Это очень странно. Я положил его в карман, входя сюда. Проспер снял с меня плащ, вы заметили это, герцогиня. Он сам отнес его в кабинет, который имеет только этот вход и в который за это время никто не входил. Так бумажника нет там на полу? Это очень странно.

— Ваше сиятельство, я не вор, — сказал егерь, сдерживая дрожь.

Дон Саверио любезно улыбнулся.

— Кто говорит это, мой друг? Было бы глупо с моей стороны утверждать это, раз у меня нет доказательств. Вы выходили за маленьким булочником, хотя, вероятно, знали еще раньше, что это бесцельно. У вас я поэтому бумажника, конечно, не нашел бы, даже если бы вы взяли его — чего вы, конечно, не сделали.

— Ваше сиятельство, позвольте! — воскликнул егерь, выпрямляясь.

— Я отпускаю тебя, Проспер, — сказала герцогиня, делая знак глазами.

Он тотчас же успокоился.

— Пойди в мою комнату, я дам тебе твое жалованье, ты уйдешь сегодня же.

— Этого я не хотел, — успокаивающим тоном заметил принц. — В конце концов на его месте всякий поступил бы так же.

— Проспер, — сказала она, оставшись с ним наедине, — ты не замечаешь, что от тебя хотят избавиться? Вот тебе деньги, уходи. У тебя не будет никаких обязанностей. Тебе придется только прогуливаться иногда под моими окнами. Бороду ты сбреешь.

— Мне будет трудно покинуть вашу светлость, — пролепетал егерь. — Я не знаю, что здесь ждет вашу светлость.

— В том-то и дело, что я тоже не знаю этого. А мне хочется знать. Поэтому иди, старина.

Однажды утром она увидела дона Саверио в окне противоположного дома.

— Как ты попал туда? — спросила она его.

— Он принадлежит мне. Я приобрел его у города.

— Ах! Каким же образом? Ты наделал еще долгов?

— Ничего подобного. Я купил его на деньги, которые получил за посредничество при покупке тобой этого дворца. Дом направо от нас я тоже получил — в обмен.

— Объясни, пожалуйста.

— В обмен на тот дом, что напротив!

— Из окон которого ты кивал мне? Но ведь он все еще твой!

— И останется моим. Я сбил цену с двадцати пяти лир на квадратный метр до пятнадцати, а потом до трех, с чего никто больше не мог получить «куртажа», ни бургомистр, и никто другой. Поэтому городу не стоило завладевать этим домом и нести расходы по отдаче его в наем — и мне оставляют оба дома.

Она подумала: «Он унаследовал деловые наклонности своей матери! И он округляет свое имение, точь-в-точь, как тот крестьянин».

— Я восхищаюсь тобой, — сказала она.

— И не без основания. Ты увидишь, мы сделаемся вместе самыми крупными домовладельцами Неаполя. Мы будем спекулировать! Я построю казармы для бедняков!

— Тебе нужны деньги?

— Я предпочитаю, чтобы ты дала мне доверенность к твоему банкиру Рущуку. Я уже говорил с ним; он вчера приехал; я ему очень симпатичен.

— Кому ты можешь быть не симпатичен?

— Так я получу доверенность?

— Нет, доверенности ты не получишь.

— Что? Нет?

— Нет.

— Ну, оставим это, — небрежно сказал он. — Это не к спеху.

От времени до времени он, закуривая папиросу, предлагал взять на себя все дела, так как они, вероятно, докучают ей. Она объявила, что они, действительно, докучают ей; она поищет секретаря.

Немедленно к ней явился маленький худощавый человечек с редкой растительностью на желтом лице и неприятно шутливыми манерами. На нем был длинный лоснящийся сюртук, белый галстук и потертые желтые башмаки. Он с ироническим подобострастием заявил, что готов на все услуги. Она отослала его. Через два дня он опять явился: в случае, если никто другой не пожелал... Никто не приходил. Дон Саверио пожимал плечами. «Никто не хочет работать».

Однажды утром она услышала на лестнице, как портье прогонял какого-то человека, предлагавшего свои услуги в качестве секретаря.

— Место занято, — заметил Чирилло. Она приказала послать просителя наверх. Он поднялся по лестнице; портье послал ему вдогонку несколько слов на местном диалекте. Это был молодой человек, прилично, но бедно одетый, по-видимому студент. Он остановился на пороге, бледный и взволнованный, и объявил, что ошибся. Затем он вдруг повернулся и исчез.

Первый претендент снова явился.

— Я не хочу больше обманывать вашу светлость, поэтому я прямо скажу...

При этом он, расставив руки, согнулся до земли. Когда он снова поднял голову, его лицо было совершенно искажено злобным удовольствием.

— ...что ваша светлость никогда не найдете никого другого, кроме меня. К тому же я имею право на это место.

— Как вас, собственно, зовут, мой милый?

— Муцио, к услугам вашей светлости. Кавалер Муцио.

— Так вы имеете право, кавалер?

— Я заплатил за эту должность его сиятельству принцу — да, заплатил две тысячи лир.

— Принц берет деньги у моего секретаря — это поразительно.

— Что удивляет вашу светлость? Я думал, что ваша светлость знаете обычаи? Иначе я просветил бы вас раньше... Принц и я заключили сделку, ваша светлость не может уже изменить этого. Если принц теперь допустит, чтобы вы взяли кого-нибудь другого, ему придется иметь дело с каморрой.

Он ухмыльнулся желтыми глазами и зубами, изливаясь в выражениях глубочайшей преданности.

— Так каморра! — с удивлением и удовольствием сказала она. — Это, очевидно, и есть то слово, которого мне недоставало!.. Но теперь сядемте, кавалер. Я ничего не имею против вас, я беру вас к себе на службу. Итак, рассказывайте и будьте по возможности искренни.

— По возможности, говорите вы, ваша светлость? Разве я не был с вами до сих пор преступно искренен? Вы не выдадите меня дону Саверио?

Он умолял ее, протягивая к ней желтые, широкие, цепкие пальцы. Редкая бородка лихорадочно тряслась на желтом лице, на котором одна гримаса сменялась другой.

— Если ваша светлость расскажете что-нибудь, то вам придется так же плохо, как и мне. Дон Саверио и очень хороших отношениях с каморрой.

— Это, очевидно, и делает возможным его дела с домами. Они блестящи до странности.

— И это тоже. О, я мог бы рассказать многое. Но я не скажу ничего, потому что это запрещено. По должности я не могу сказать ничего. Но экстренное вознаграждение, которое назначили бы мне, ваша светлость, возложило бы на меня внедолжностные обязанности...

— Которые вы исполняли бы?

— Самым добросовестным образом. Я сумел бы узнать все, что возбуждает любопытство вашей светлости.

— Вот вам сто лир. Постарайтесь разузнать, куда исчез маленький булочник.

Его рука схватила бумажку.

— Ваша светлость сейчас узнает. Я сам отвез хорошенького мальчугана в больницу со сломанными ногами: шеф и остальные столкнули его с балкона кухни. Ваша светлость оказали мальчику слишком много милости; это было, с вашего позволения, немного неосторожно...

— О!

Она отвернулась. Муцио вытянул желтую шею и сказал, кивая, точно грязная и мудрая птица с высоты:

— Такова жизнь.

— Вы скажете мне, когда мальчик выздоровеет; я позабочусь о нем. Рассказывайте дальше.

— Я желаю вашей светлости добра. За сто лир я причинил вашей светлости достаточно горя.

Она отпустила его. В следующий раз он сообщил, что молодой человек, которого она хотела взять в секретари вместо него, так внезапно ушел, потому что у него были основания ожидать внезапной смерти. «У него, вероятно, порок сердца», — сказал Муцио.

— Где Нана, моя камеристка?

— Ей живется хорошо, она просит вашу светлость не забывать ее.

— Она в Неаполе?

— И совсем близко. Вашей светлости стоит приказать, и Нана появится. Но ваша светлость не сделаете этого, потому что Нана это повредило бы...

— В таком случае не надо... А маленькая прачка, которой я сделала знак подняться наверх?

— О, ваша светлость не будете требовать, чтобы в дом приходила другая прачка, а не та, которой покровительствует Чирилло, швейцар. Этого еще никогда не случалось; куда мы зашли бы, если бы допускали это? Мелкие поставщики подчинены Чирилло и платят ему налог; более крупные имеют честь быть обложенными самим его сиятельством принцем. Гости также.

— Мои гости?

— Это удивляет вашу светлость? Разве не было бы более удивительным, если бы игроки, выигрывающие в баккара за картежными столами дона Саверио, ничего не давали ему от своего выигрыша? Также и многим дамам выпадает счастье покорить в салонах вашей светлости того или другого англичанина. Дон Саверио справедливо находит, что они обязаны ему благодарностью...

\* \* \*

Вечером она внимательнее обычного присматривалась к обществу, наполнявшему ее залы. Эти люди блистали брильянтами и титулами. Женщины были высокого роста, кроткие, мягкие, со склонностью к полноте, с рассчитанной томностью в очень черных глазах. Мужчины были маленькие, бледные, худощавые, чрезмерно напряженные и живые; они гордо выпячивали грудь, насильно побеждая все усталости ночи, проведенной в игре и любовных наслаждениях, — и всех их ждала одна судьба: после сорока лет, совершенно неожиданно, навсегда лишиться употребления ног.

Среди них там и сям можно было встретить чопорного, но уже задетого общим возбуждением, иностранца, за которым, точно хвост кометы, следовала слава его миллионов. Аристократ, с которым беседовал польщенный мистер Вильяме, из Огайо, подводил его к своей жене. Несколько минут спустя он отправлялся в буфет, наполнял тарелку своей жены и, заботливо угощая себя самого, бросал искоса взгляды на нее и иностранца... Дивная графиня Парадизи с тревогой смотрела на маркиза Тронтола и лорда Темпеля, игравших в экарте. Она облегченно захлопнула веер, когда Тронтола выиграл.

Герцогиня думала: «Этот дом — точно салон куртизанки. Здесь все продается, дороже всего — хозяйка дома. Мне очень хотелось бы знать, какую сумму дон Саверио потребовал бы за меня самое».

Среди игроков сидели элегантные и сомнительные господа Палиоюлаи и Тинтинович с торчащими усами и холодными глазами. Их суровые лица были еще гуще прежнего усеяны тонкими, как волосок, морщинками, тела представлялись воображению еще более смуглыми и обветренными, с седыми лохматыми волосами под ослепительно-белыми рубашками. Еще более странные истории приходили в голову при взгляде на этих придворных, которым, быть может, предстояло окончить жизнь в качестве крупье.

Король Филипп поцеловал ей руку; он сказал очень ласково, тягучим, скрипящим голосом:

— Здравствуйте, герцогиня, я, право, очень рад, что мы находим друг друга в добром здоровье.

И он погрузился в тупое молчание. Король сильно горбился и большей частью не поднимал глаз от земли Когда он смотрел на кого-нибудь, его лоб был наморщен, а улыбка бесцветна. Своей негибкой, важной походкой он производил впечатление пожилого сановника, окончательно застывшего в своей тупости и обладающего механической опытностью в деле наделения нагоняями и похвалами. Он опять поднял голову и указал на анфиладу зал, бесконечно сверкающую в сценическом обмане сотен отшлифованных зеркал, полную свечей, шелков и белых плеч, позолоченной штукатурки и нарисованных тел, цветов и драгоценных камней, колонн из фальшивого мрамора, ярко блистающих мозаик и томных глаз. Король заметил:

— Вы устроили себе восхитительный дом, герцогиня, этого нельзя не признать — и такой уютный.

После этих слов он окончательно впал в изнеможение. Рущук, стоявший за его креслом, пояснил герцогине:

— Его величество только в двенадцать часов получат рюмку портвейна. Остается еще четверть часа... После этого его величество будут всю ночь на высоте положения.

Она сказала:

— Что, если бы вы послали его спать?

— Что вы, ваша светлость! Мы гордимся успехом системы воздержания, которой мы подвергли его величество.

— А! Прошло время стаканов шампанского с коньяком?

— Боже сохрани! Рюмка портвейна в полночь, ради беседы с гостями; рюмка красного столового вина за обедом, из внимания к присутствующим. Прежде мы давали рюмку также утром; но это оказалось излишним, так как до обеда у его величества нет никаких обязанностей, кроме работы с нами, министрами.

Рущук произнес это глухим, мягким голосом, с той стоящей выше высокомерия независимостью, которую дают почести и успехи. Он был багрово красен и весь покрыт сухими пучками белых волос. Тяжесть его живота гнула его книзу. В разговоре он с напряжением выпрямлялся; при этом подвижная масса жира переливалась то в одну, то в другую сторону; и, чтобы сохранить равновесие, Рущук описывал в воздухе движения то левой, то правой рукой. Вокруг него носились одуряющие благоухания, казалось, исходившие из всех частей его тела, — из каждой особое.

— Вы удивительно пошли вперед, ваше сиятельство, — сказала герцогиня, глубоко заглядывая ему в глаза. — Подумать только, что вы мой придворный жид!

Он снисходительно улыбнулся, точно интимности из старых времен.

— Поэтому-то ваша светлость и не сделались королевой, — с подкупающей откровенностью сказал он.

— Я не понимаю.

— Очень просто. Когда Николай умер, мне не стоило бы никакого труда объявить его наследника больным — детей ведь у него нет — и призвать из Венеции вашу светлость, претендентку, последнюю из старейшего туземного рода. Вы взошли бы на трон со всеобщего согласия, при ликовании народа. Вы, конечно, и не думали об этом? В том-то и дело, только бедный далматский народ напал на эту мысль, и я велел сказать ему, что вы не хотите. Ах! Я остерегся призывать вас. Потому что для вас я всегда был бы только вашим придворным жидом, — и вы правы, почему бы мне и не признать этого. Все другие боятся меня и поэтому не могут меня знать; я не лицемерю, но и не открываю им себя. Почему бы мне, по крайней мере, с вами, герцогиня, не позволить себе роскоши искреннего слова? — спросил он с жестом, величественным в своем спокойствии.

— Я тоже не вижу причины, — ответила герцогиня. Рущук потеплел. «Я говорю хорошо», — подумал он и тотчас же почувствовал некоторую симпатию к своей слушательнице.

— Таким образом, я предпочел предпринять курс лечения его величества. Вследствие этого его величество смотрит на меня, как на своего благодетеля, и, чтобы избегнуть всякого вредного напряжения, предоставляет мне управление страной — мне и моей жене.

— Вашей супруге, урожденной Шнакен.

— Беате Шнакен, — повторил он с удовлетворением.

— Поздравляю. Как должна быть счастлива королева Фридерика, что ее дом не лишился верной Беаты!

— Мы все живем дружно и счастливо. Это, однако, не мешает мне, герцогиня, смотреть на управление имуществом вашей светлости, как на дело, по крайней мере, такой же важности, как каждое из государственных дел. Ваша светлость не можете этого знать, но я значительно обогатил вас смелыми спекуляциями. Может быть, ваша светлость поблагодарите меня за это в будущем.

— В каком будущем?

Министр покачал головой.

— Дом Кобургов не имеет будущего. Он живет только в лице этого, столь же высокого, сколь привлекательного господина, который не слышит нас.

И он указал на короля. Полуотвернувшись и сгорбившись, Фили созерцал свои ноги.

— В дом Кобургов я никогда не верил; поэтому я и сделался его министром... В вас, герцогиня, я верил чересчур. Вы были бы неудобной госпожой; я был очень рад, когда вам пришлось бежать.

Его искренность опьяняла его. «Разве я не современный государственный человек? — говорил он себе. — К чему лгать?».

— Будем надеяться, что вы никогда не вернетесь. Но если после прекращения королевского дома воля народа — а он иногда позволяет себе иметь волю — все-таки принудит меня призвать вас, надеюсь, что ваша светлость сумеете оценить меня по заслугам.

— Будьте спокойны.

— Если ваша светлость подумаете, что все, чего вы добивались для вашей бедной Далмации и чего со своей женской политикой чувства, конечно, не могли достичь, было осуществлено мной самым блестящим образом...

— Было осуществлено?

— Я дал стране конституцию и, следовательно, свободу подходить к избирательной урне. Каждый получает пять франков, избирает за это моего кандидата и поздравляет себя со свободой. Ах! Свобода дорога, не говорил ли я вам этого заранее? Она стоит по пяти франков на человека. Но я не успокоюсь на этом; и когда мне удастся поднять финансы еще больше, чем я это сделал до сих пор, я введу, одно за другим, также и справедливость, просвещение и благоденствие. Ваша светлость увидите: когда вы вернетесь в страну, вы будете вполне удовлетворены.

— Вероятно, тогда у меня будет только одно желание: а именно, переправить вас, ваше сиятельство, в купе первого класса и с вознаграждением в несколько миллионов через границу.

— Ваша... светлость... шутите.

— Или приказать зашить вас в мешок и бросить в море.

Министр чуть не подпрыгнул на месте и запыхтел.

— Это зависит только от того, насколько я найду страну турецкой.

— Ваша светлость примите во внимание, что я удвоил ваше имущество...

— И что вы задушили свободу и даже стремление к ней.

— Какое это имеет значение для вашей светлости?

Он болтал в неудержимом страхе, снова, как тогда, в те неприятные времена, когда два унтер-офицера, схватившие его, возложили на него ответственность за далматскую революцию.

— Ваша светлость ведете здесь такую веселую жизнь. Ваша светлость заняты любовью. Простите! О вашей светлости рассказывают такие удивительные истории... Что вам до далматской свободы? Вы долгие годы жили только искусством: что вам теперь искусство? Теперь для вас существует только любовь. Обратите внимание, как смотрят на вас те господа, даже дамы! Дамы и мужчины — все здесь сходят с ума! Все возбуждены, сами не зная чем. Дамы неестественно разгорячены, а мужчины оживленнее обыкновенного. И во всех углах называют ваше имя, каждый хочет показать, что знает о вас больше соседа, каждый опьяняется созерцанием вашего затылка — какой затылок стал у вас! — и, глотая одно из ваших жгучих вин, воображает, что уже ощущает на губах ваше дыхание.

Он вытер лоб, торопливо думая: «Я совсем размяк от воодушевления; уж не болен ли я?» Он пощупал свой пульс. «Или это только потому, что я, после стольких лет, снова испытываю страх перед человеком?.. Да, я испытываю страх и еще что-то другое, чего я ни в коем случае не должен был бы испытывать, так как мое положение очень опасно».

Он задыхался, точно под ударами плети.

— Вы — богиня любви! Что вам искусство? Что вам свобода?

— То же, чем она была для меня в двадцать лет, — тихо и снисходительно ответила она. — Свобода — только слово, я же человек, и душа у меня все та же — только судьбы меняются и символы... Вы не можете понять этого, барон Рущук — но успокойтесь, не бойтесь, здесь не разыгрывается трон: мы будем танцевать.

Она слегка коснулась его веером и сказала на ходу:

— Пойдемте.

\* \* \*

Она прошла мимо Лилиан Кукуру:

— Идемте!

Лилиан пошла с ней. Они были выше большинства гостей. В толпе выделялись их затылки и прически: черная, усеянная каплями жемчужин, рядом с темно-рыжей, полной фиолетовых огней. Из одного из наполненных зал вслед да ними протиснулся Измаил-Ибн-паша, окруженный своими четырьмя женами. Они были одеты по-турецки, и их супруг торжественно и гордо вел их. Показалась Винон Кукуру со своим мужем, поэтом Жаном Гиньоль, который с робкой гордостью показывал под своим тускло-голубым фраком амарантового цвета жилет. Дивная графиня Парадизи вдруг оказалась полунагой; она выступила из своей огромной кружевной накидки, точно из лунной дымки, сверкая брильянтами, которыми было усеяно ее тело. На герцогине было белое платье без всяких украшений, собранное под грудью и у затылка, с прорезом на правом бедре. Она вступила на порог бального зала в то мгновение, когда музыка умолкла. Танцующие, еще прерывисто дыша, проходили мимо, рассматривая ее. За ней вытягивалась сотня голов. Затем подошел дон Саверио и вывел ее на середину зала. Она двигалась, положив руку на бедро. При каждом шаге в отверстии короткого хитона показывалась нога, и туго обтянутая переливающейся светло-зеленой тканью чехла она обрисовывалась, показывала играющие мускулы и, казалось, дышала, словно необыкновенное и соблазнительное морское животное, катившееся в прозрачной волне. Все искали его, теряли его, шли за ним, точно во сне, убаюкиваемые расслабляющей и возбуждающей мелодией, которая несла их на своих волнах, точно по теплому морю, полному фосфорического блеска.

Вокруг все благоухало. Ароматы, скрытые в дереве мебели, в обоях стен, просачивались наружу. Женщины, с змеиным шорохом двигавшиеся в своих узких, раскрывающихся кверху, как чашечки цветов, платьях, смешивали, точно в чашах, которые небрежно предложили бы прорезанной голубыми жилками рукою, благоухания, исходившие от волос, корсажей, тел, цветов. Зал был весь украшен гирляндами цветов. Они колыхались между колоннами, склонялись к танцующим, задевая их плечи, трепетали вместе с ними и разгорались, как они.

Герцогиня оставалась в середине зала; она медленно кружилась между четырьмя колоннами, увешанными пылающими и колеблющимися цветами олеандра. Она мягко откинула голову назад; тяжелый узел волос поднимался на затылке, блестящие глаза были устремлены на счастливое лицо принца. Он что-то говорил ей журчащим голосом, из его выпуклой груди исходили мягкие, сдержанные звуки. Она сказала ему, что довольна, и улыбнулась паше. Он с методической веселостью танцевал с Эминой, носившейся, как вихрь. «Мы снова на празднике жатвы, — подумала герцогиня. — Зачем поре винограда кончаться когда-либо?» Бессознательно она подняла руку, как будто между пальцами у нее была полная кисть.

Вдруг из толпы ей подала руку Лилиан Кукуру. Они вошли, точно в палатку, под полуоткинутый гобелен с изображенными на нем любовными историями Юпитера, висевший между двумя колоннами. Герцогиня отдыхала, опершись локтем о подушки. Лилиан стояла, выпрямившись, возле нее; серебряная ткань, облегающая, жесткая, непроницаемая, сверкала на ее членах. Из узких отверстий платья выступали полные, матово-белые руки и шея, а волосы огненными языками лизали сокровища ее тела.

— Вы стали красавицей — сказала герцогиня. Лилиан молчала. — Мы не должны были бы показываться рядом. Это жестоко! Я думаю, что многие из тех, кто смотрит на нас, теперь искренне несчастны.

Лилиан возразила:

— А многие поистине счастливы, поверьте мне! Я показывала себя сначала в Париже, потом в Риме, на сцене, в трико, при электрическом освещении.

— Я знаю это. Вы сделаете это и в Неаполе?

— Это решит Рафаэль Календер. Вы видите его, вот он стоит с женами паши. Я сделала его своим импрессарио, так как Бланш де Кокелико не приносила ему больше ничего, — и я требую от него, где бы он ни показывал меня, только одного: чтобы он делал уступку молодым людям. Студенты и художники не платят почти ничего.

— И вы считаете, что делали молодых людей счастливыми?

— Очень счастливыми. Я публично и со спокойной совестью показываю им красоту, за подделкой которой они обыкновенно гонятся украдкой. Я убеждена, что они не испытывают никаких желаний, кроме желания смотреть на меня; я слишком прекрасна.

«И слишком холодна», — подумала герцогиня.

— Под их взглядами я очищаюсь от отвратительных прикосновений угрюмого грешника, которому я была подчинена когда-то. Вы видели это, его желания скользили по моей коже, как что-то влажное, гнилое... О, мне нужна еще ежедневная ванна чистого восхищения, — сказала она, охваченная отвращением. Затем она с живостью прибавила:

— И, стоя на сцене, нагая и залитая светом, я поднимаю ослепительный, победоносный протест против всего лицемерия моей касты, против всякой грязи и ненависти к телу!

Герцогиня внимательно смотрела на гордое, холодное лицо говорившей. Ей казалось, что это говорит она сама.

— Вы — восставшая, о, я люблю вас!

— Вы, любящая свободу! Вы, такая одинокая! — сказала Лилиан. — Разве мы не сестры?

— Насколько это вообще возможно... Вы, Лилиан, тоже очень одиноки. Когда вы любили Жана Гиньоль, вы думали, быть может, что одиночеству настал конец?

— Я уж не помню. Мы оба питали прекрасную ненависть к морали. В парижских артистических кафе, в которых он жил со мной, многие были, как он. Потом они снимают бархатные жилеты и женятся.

— Он не снял своего, хотя он муж Винон.

— Он достоин сожаления; он не может решиться стать буржуа вполне. Ему и тогда ни одной минуты не было вполне ясно, что он хочет увезти меня. В конце концов я увезла его, незадолго до смерти матери. Это, вместе с предстоящим арестом, убило ее. У Тамбурини сделалась желтуха.

Лилиан бесстрастно и спокойно говорила обо всем этом, как о воспоминаниях, с которыми покончила. Она вернулась из Парижа в Рим, чтобы быть бельмом на глазу у всех. И Винон, этот ребенок, отняла у нее Жана Гиньоль, который становился знаменитым. Почему он последовал за ней и женился на ней? Из честолюбия или из страха? Кто знает? Его молодость приходила к концу. А почему Винон взяла его себе? Из зависти — и чтобы отметить за свое лицемерное существование и за то, что Лилиан была свободна... Лилиан сказала, что все это волнует ее вдвойне, так как она говорит с герцогиней Асси.

— С ней, которую я когда-то под кнутом моей жалкой матери помогала обманывать и для которой моя рука была слишком нечистой: я не смела протянуть ее ей. Как я страдала! Еще немного, и все прорвалось бы раньше времени. Вы так же жаждали свободы, как и я; это волновало меня.

— И меня! — сказала герцогиня. — Мне кажется, что я целые годы дышала возмущением, бок о бок, с вами, Лилиан. Я снова слышу голос Сан-Бакко: как он был прекрасен!.. Теперь вокруг нас, точно битва, кипит любовь.

Она улыбнулась, полная сладострастного желания борьбы, как когда-то, когда сердила и расстраивала старых, угрюмых людей в королевском дворце в Заре. Обмахиваясь веером, прислушивалась она к громкому дыханию вокруг себя, к вздохам и воркованию. В зеркалах отражались бледные, мечтательные и горящие лица, опьяненные то томными, то жгучими звуками вальсов — точно пением своей крови — и ритмическим движением собственных тел. Дивная графиня Парадизи лежала на низкой спинке своего кресла, обратив кверху широкое, бледное лицо с жадно раскрытыми ноздрями, вздрагивающими губами, глазами, пожирающими желания мужчин: лицо, точно из дышащих цветов, готовое отдаться каждому, кого манит погрузить в него свои губы. Кружащиеся пары, забывшие обо всем пышные женщины, полулежа предлагавшие себя, и мужчины, уткнувшиеся в их корсажи — все они домогались, шепотом выражали согласие и в дрожащем молчании или с возбужденным смехом глубоко погружались в наслаждение своим тайным трепетом. В неровном свете свечей на лица ложилась красная пыль; а на плечи, медленно соскальзывая с колонн, падали горячие, сухие цветы.

Лилин кружилась в объятиях лорда Темпеля и надменно и одиноко смотрела ему через плечо. Герцогиня танцевала — она уже не сознавала, с кем — и опьяненная, не чувствуя своего тела, со странно поющей кровью, она кружилась, кружилась. Со всех сторон; из всех уст поднималось, словно эхо ее покачивающихся, зовущих членов, ее имя; то с дрожью желания, то жестко и хвастливо, то со сладостным вздохом, то с тоской. Король Филипп, которого несколько рюмок портвейна оживили больше, чем следовало, переходил от одной группы к другой и прислушивался.

— Что это вы рассказываете, о герцогине, господа: право, это удивляет меня.

Он наклонился вперед и просовывал голову то туда, то сюда, в явном беспокойстве.

— Ах, что там! — вдруг объявил он, — я не верю этому. Ведь вы не были при этом?

Рискованный рассказ произвел на него сильное впечатление; и, чтобы сохранить свое достоинство, он удалился чопорной походкой сановника. В это мгновение герцогиня вырвалась из водоворота танцующих и упала на стул рядом с ним. Ее кавалер отошел, уступая место его величеству. Фили сказал, дрожа:

— Уж и хороши же вы, герцогиня, в этом не может быть никакого сомнения.

— Ваше величество говорили мне это и тогда. Но вид у меня был немного другой, я думаю.

— Да, вы изменились, но только к лучшему, — без комплиментов.

— Я верю вам, ваше величество.

Фили с открытым ртом искал слов Вдруг он решительно подсел к пен и принял очень нежный вид.

— Герцогиня, так вы совсем забыли?

— Что, ваше величество?

— Что я любил вас?

— Конечно, я помню... в виде дона Карлоса. Я не вняла вашим мольбам, правда? Простите меня! Теперь я не понимаю, почему я когда-либо давала себе труд отклонить чью-либо просьбу... Что с вами, ваше величество?

Седые волосы Фили заколебались на его бледном лице. Он был сильно испуган.

— Успокойтесь, вам не нужно ничего наверстывать; у вас есть более высокие обязанности. Будем добрыми друзьями!

Она протянула ему руку, он схватил ее.

— Не могу, герцогиня. Добрые друзья: это так говорится. Это я теперь тоже говорю всем женщинам, которые из-за своих выгод хотели бы совратить меня. Рущук не позволяет этого. Он страшно строг, еще строже, чем прежний Геннерих, которого они прогнали, потому что он перешел на вашу сторону, герцогиня. Рущук ведь спас меня от иезуитов; они хотели, чтобы мои пороки погубили меня. Этого еще недоставало! Я терпеть не могу женщин! Но против вас, герцогиня, я все-таки не могу устоять, я не могу не думать о прежних временах, и мне кажется, что я должен еще раз быть счастливым. Так не может продолжаться. Такая несчастная жизнь. Разве вы знаете, герцогиня, как я несчастен? Я скажу вам что-то...

Он умоляюще сложил руки и прижался к ней так робко, так слабо, что она только ощутила на своем плече как будто трепетание голубиного крыла.

— Поедемте со мной ко мне на родину, я женюсь на вас, вы будете королевой. Ведь вам всегда хотелось этого.

И так как она ничего не ответила, смиренно прибавил:

— Хотя вы слишком хороши для этого.

— А королева Фридерика?

— Будет устранена! — тотчас же воскликнул Фили почти смело.

— Так вы согласны? О, герцогиня, вы не подозреваете, сколько добра вы этим делаете! Что вы можете сделать из меня!.. Я еще стану человеком, человеком!

Она взяла его за руку и сказала, точно призывая опомниться:

— Так вы не хотите меня здесь, где я хороша и полна желания любить в течение двадцати четырех часов — или еще меньше — нет, вы хотите сделать меня королевой и... устранить вашу жену.

— Прочь ее! Я так хочу! Рущук докажет, что она не верна мне, мы упрячем ее в монастырь, и конец!

Она подумала:

«Завтра портвейн испарится»...

И она сказала, откинувшись назад, с теплотой и грустью:

— Тогда уедем скорей и будем любить друг друга... на троне.

Фили вскочил, барахтаясь, с растерянными от счастья глазами.

— Сегодня вечером я в самом деле король! Рущук уже увлекся и оставляет меня в покое... Кто из нас двух господин? — задорно крикнул он в сейчас же прибавил с глупым видом:

— Послушайте, герцогиня, раз здесь можно маскироваться, и вы изображаете такую прекрасную гречанку, мне хотелось бы одеться королем.

Она велела подать ему широкий красный плащ, волочившийся по земле. Принесли и корону из позолоченной папки, в форме лилии, выложенную разноцветными стеклышками. Надев все это, король стал гордо прохаживаться по залам, помахивая скипетром. Рущук протиснулся к герцогине и пробормотал:

— Ну, не жалость ли это? Я сделал ошибку, допустив бедного кретина занять трон. Я должен был призвать вас, герцогиня. Почему я боялся, спрашиваю я себя. Что вы за женщина! Гениальная, прекрасная, чарующая — все, что хочешь...

Она взглянула на него. В погасших глазах государственного мужа вспыхнул зловещий огонек, руки его дрожали, как у пьяницы. Его живот колыхался над самой ее грудью.

— Вы изменились за этот час, — заметила она, с лукавством разглядывая исподлобья его покрытое белой щетиной, совершенно искаженное лицо. Рущук пролепетал:

— Я исправлю это, поверьте мне, ваша светлость... Не конспирировал ли я уже однажды для вас, не предавал ли не раз своего монарха и не вел ли всегда двойной игры — для вас? Теперь я опять посмотрю, что я могу сделать. Я велю объявить его слабоумным, что это мне стоит? Обещайте только, что вы приедете и сделаете меня счастливым?

— На сколько времени? — спокойно спросила она.

— Навсегда! Вы будете королевой. Мы будем править вместе. Беата будет устранена. Подходит вам это?

Его перекатывающийся жир почти ударял ей в лицо. Она с отвращением погрузила в него два пальца: Рущук тотчас же, болтая руками и ногами, опрокинулся на подушки. Его щеки пугающе отвисли, взор остекленел. Он провел рукой по покрасневшему лбу.

— Приказать принести воды? — спросила герцогиня, вставая.

— Мне уже лучше, — беззвучно сказал он.

— Вы могущественный человек. Здесь есть люди, которые хотят поблагодарить вас.

Она сделала знак паше. Измаил-Ибн, пошатываясь, подошел к ним. Он был пьян, как при сборе винограда; жены поддерживали его справа и слева и оберегали от падения. Он тотчас бросился к министру.

— Брат, благодетель мой — сказал он, запинаясь, но с достоинством пожимая руку Рущука, — что ты за человек! Посмотрите на него, герцогиня, что он за человек! Всем я обязан тебе — своей жизнью, своим состоянием: властитель правоверных вернул мне его, и генеральным консулом в Неаполе он сделал меня, благодаря твоему заступничеству!

На глазах у него выступили слезы, и он звучно поцеловал государственного мужа в обе щеки. Эмина и Фарида бурно сделали то же самое; Фатма последовала их примеру, мягко и благодарно. Но Рущук не сводил глаз с высокой Мелек; она безучастно стояла в стороне, поводя черными глазами. Герцогиня сказала, легкомысленно смеясь и положив руку на плечо Мелек:

— Дай ему поцеловать руку, Мелек! Он верующая натура, он охотно преклоняет колена перед такими простыми божествами, как ты.

Мелек, не понимая, протянула руку. Рущук припал к ней жадными губами.

— Это тоже моя жена, — объявил, подмигивая, паша. — Ты хочешь ее? Ты ее получишь. Ведь я всем обязан тебе. Дай мне только полмиллиона, и она твоя. Разве я могу в чем-нибудь отказать тебе? С моей собственной женой ты можешь за какие-нибудь полмиллиона делать, что хочешь: но только это, ты понимаешь. Потом ты отдашь мне ее обратно, иначе она была бы несчастна, она очень любит меня... Скажи, ты согласен?

— Как он может не быть согласен? — сказала герцогиня. — Правда, он мог бы легко сдержаться, но он так богат. К чему отказывать в радости себе и другим?

И она ушла танцевать и долго еще смеялась открытыми, влажными губами, поднося лорнет к глазам.

Рущук, позеленев, вытирал лоб своим надушенным платком.

— Не глуп ли я, — бормотал он. — В моем опасном положении не делают таких глупостей. Но сегодня ночью все теряют рассудок, даже я. С этим ничего не поделаешь. И во всем виновата эта герцогиня!

Он тревожно оглянулся; она кружилась далеко от него.

— Но полмиллиона! Меня следовало бы высечь!..

Он хотел вскочить, но в эту минуту Мелек подняла одну из своих мощных рук, чтобы откинуть волосы со лба, — и Рущук сдался.

— Ну? — поддразнивая, спросил паша, тяжело ворочая языком. — Дай мне полмиллиона, и ты тотчас же сможешь делать с моей женой, что хочешь. Но только это, — с пьяным упрямством повторил он.

— Пэ! — произнес Рущук. Он положил руку на ручки кресла и попытался принять безучастный вид. — Пришли мне твою жену, чтобы покончить с этим и чтобы я не слышал больше твоей надоедливой фразы. Ведь ты пьян... Нет, нет! — вдруг крикнул он в страхе, растопырив пальцы. — Уйди от меня! Если я захочу твою жену, я дам тебе знать. Если я делаю какое-нибудь дело, то делаю. Если я не делаю его, то это мое дело. Иди-ка отсюда!

— Ты позовешь меня обратно, — икая, сказал паша и, пошатываясь, двинулся дальше. — Ты получишь ее за полмиллиона. В чем я мог бы отказать тебе? Можешь делать с нею, что хочешь. Но только это!

\* \* \*

Рущуку и паше завидовали: они удовлетворяли свои желания, громко выражали их, требовали больших сумм, бранились. Каждому хотелось подражать им. Было сброшено еще несколько цепей. Парочки разгорячились еще больше. Там и сям обменивались колкостями.

Винон Кукуру за лавровым кустом позволила прекрасному маркизу Тронтола поцеловать себя в затылок. Ее сестра Лилиан, проходя мимо, раздвинула ветви и сказала:

— Не стесняйтесь, Феличе, не стоит. То, что вы делаете с этой дамой, не идет в счет.

— Почему? — невинно спросила Винон.

— Потому, что это делают с ней слишком многие.

— Право, маркиз, я думаю, что она ревнует. Кстати, ведь мы еще не поздоровались. Дай мне руку.

Лилиан выпустила ветви.

— Вы видите, Тронтола. Разве не печально, что сестры даже не здороваются друг с другом? Можно ненавидеть друг друга — я ничего не имею против этого, но здороваться все-таки следовало бы. Впрочем, я не питаю к Лилиан ненависти, ведь она нисколько не выше меня...

Лилиан вдруг очутилась за кустом, возле них.

— Я не выше тебя? Я настолько же выше тебя, насколько чистая совесть выше нечистой...

— Это красиво сказано.

Сестры мерили друг друга взглядами. Лилиан стояла, выпрямившись, в своем металлически сверкающем платье, точно в потоке кинжалов. Винон мягко лежала в своем красном шелку, выставляя покрытую кружевами грудь; лицо ее отливало молочным блеском, точно опал.

— Это настолько же красивее, — заявила Лилиан, — насколько свободная артистическая жизнь красивее тайных пороков.

— О, какие громкие слова! — мягко сказала Винон. — И прежде всего не тот стоит выше, кто впадает в гнев... Вы знаете книгу моей сестры, маркиз?

Тронтола попробовал перевести разговор на другую тему.

— Великолепная книга, княжна. Она написана для знатоков. У вас талант делать вещи литературно возможными...

— О, тут дело не в таланте, — вставила Винон.

— Нет, потому что у тебя его нет, — пояснила Лилиан.

— От меня его и не требуют. Талант хорош для того, кто не умеет пробиться, как личность... Ты после своего бегства из Рима написала памфлет на римское общество. В нем есть все, что знают и о чем не говорят: живущие на содержании мужчины, проданные женщины, высокопоставленные шулера, побочные доходы сановников, полиция на службе у частных страстей, прикрытые преступления и противоествественные любовные истории, — вся гамма.

Тронтола заметил тоном знатока:

— Ваша сестра красивым жестам швырнула все это в лицо обществу.

— Возможно. Но согласитесь, что женщина, которая печатает такие вещи, не играет роли сильнейшей. Она мстит. Общество ранило ее, она же не может сделать обществу ничего: ей можно и не верить, так как она ведь мстит... Чего только она не рассказала о Тамбурини; это не помешает ему в один прекрасный день стать епископом Неаполя. Она бессильна; ей не остается ничего другого, как презирать нас. Вы находите это таким достойным удивления?

Тронтола воскликнул в растущем смущении:

— Ваша сестра живет в прекрасном одиночестве!

— В прекрасном одиночестве! — подтвердила Лилиан. И она опять повторила то, в чем тысячу раз ее уверяла ее гордость:

— Стоя на сцене нагая и залитая светом, я поднимаю ослепительный, победоносный протест против всего лицемерия моей касты, против всей грязи и ненависти к телу.

— И подумать, что другие при этом просто забавляются, — заметила Винон.

— Почему ты отняла у меня Жана Гиньоль?

— Вот он, главный вопрос во всей этой сцене.

— Я отвечу тебе. Потому, что ты хотела отомстить за то, что я жила, что я осмелилась жить, а ты не осмеливалась. И потому, что ты унаследовала ненависть нашей матери, которая ненавидела меня за все богатые постели, в которые я не позволила положить себя. И ненависть всего общества, которое завидует мне за мужество моей жизни. И потому, что ты сама принуждена подолгу страдать от желаний, которые я быстро утоляю, и принуждена лицемерить! О! Весь тайный стыд женщины с добрым именем! Вы видели, Тронтола...

Тронтола сделал безнадежный жест.

— ...как коварно она обошлась с маленьким русским, который чуть не плакал. Она так рада, что не хочет его. Ее желания для нее пытка... Но потом над бедной Винон наклоняетесь вы, маркиз, и в это мгновение она не спокойна, бедная Винон, — совсем не спокойна!

Тронтола польщенным жестом отклонил от себя эту честь.

— И все-таки она должна держать себя спокойно, именно теперь, накануне ее представления ко двору! Она будет представлена вместе со своим мужем. Наконец-то, ей прощают мое существование: какое торжество! А интриги, понадобившиеся, чтобы добиться этого, а поцелуи и укусы в темноте, а отречение от последней гордости, а скука, а грязь в душе... Грязь — о, если бы мне дали миллионы и царские почести — я говорю это от всего сердца, — я не хотела бы ни минуты дышать тем воздухом, которым дышишь ты!

— Ты кончила декламировать? — презрительно осведомилась Винон. — Я охотно верю, что ты отказываешься следовать моему примеру. Прежде всего потому, что ты не можешь. Ты хотела бы знать, почему я отняла у тебя Жана Гиньоль? Потому что я любила его.

— Ты обманываешь его.

— Я его не обманывала.

— Что же это доказывает?

— Потому что ты не любишь ни его, ни кого-либо другого. Твое прекрасное одиночество, — позволь это сказать тебе, — порождение холодности и себялюбия.

— Потому что я не хотела позволить maman и всему обществу злоупотреблять собой?

— О, вечно все общество. Если бы ты в самом деле хотела бороться с ним! Я делаю это.

— Ты!

— Я! Кто сказал тебе, что я менее одинока, чем ты? Я прокладываю в обществе дорогу себе и своим желаниям. Оно спускает мне многое, потому что чувствует, что я показала бы когти. О, я не написала бы книги и не доставила бы свету безвредного зрелища!

Винон уже не лежала спокойно, как прежде, она сильно разгорячилась. Тронтола вертелся между ними, чувствуя себя неловко, но в то же время возбужденный этим взрывом женских темпераментов.

— Я писала бы анонимные письма и наносила бы раны своим беззащитным врагам, нисколько не компрометируя себя.

— Фуй! — сказала Лилиан.

Винон пожала своими белыми плечами.

— И ты не задыхаешься от всего этого притворства? — с отвращением и интересом спросила ее сестра.

— Нисколько. Ведь я высказываюсь теперь, и притом совершенно непринужденно. Я скажу вам еще больше: в ближайшем времени я буду представлена их величествам, а между тем, не говоря о любовниках, которые не идут в счет, у меня имеются две настоящие связи — одна из них с сыном дамы, которая представит меня.

Винон страстно наслаждалась своими собственными признаниями, она опьянялась своей опасной игрой.

— Я спокойно рассказываю это вам, Тронтола и Лилиан, друзья мои. Если вы расскажете об этом кому-нибудь, вам никто не поверит. Сегодня ночью говорится и делается многое, о чем завтра никто не захочет знать.

— Как я презираю тебя! — воскликнула Лилиан от глубины души.

— Я уже объяснила тебе, что презрение — единственное, что остается тебе. Все остальное ты прогадала. Только я — истинная княжна Кукуру — та, которая добилась представления своей семьи ко двору и которая вышла замуж за знаменитого Жана Гиньоль. Моя сестра только дала ему соблазнить себя, и он довольствовался ею лишь до тех пор, пока был богемой... Теперь она осталась одна в своей слабости.

— Я сильна! — возмущенно крикнула Лилиан.

— Ты слаба, это ясно. Когда кто-нибудь не в состоянии проложить в свете дорогу своим страстям или желаниям, он возмущается, бежит в пустыню, сыплет проклятиями, громит лицемерие. Как легко такое свободомыслие! Она обладала им, маркиз, уже тогда, когда лежала в постели Тамбурини. Maman однажды хотела для разнообразия положить ее в постель Рафаэля Календера. Какие потоки возмущения излились тогда на бедную maman! И все-таки в конце концов эта гордая душа покорилась — я предсказала это ей сейчас же. Теперь Календер не то, что ее любовник, но ее сводник, — да, маркиз, вам придется примириться с этим словом! Вы видите, вот он, этот маленький лысый еврей, ведет переговоры с лордом Темпелем, которому он доходит до груди. К четырем или половине пятого утра они сойдутся в цене. Ведь недоступность белоснежной Лилиан сильно нарушается одним: ее неограниченной потребностью в деньгах. О, ей необходимо быть одетой богаче, чем самая богатая из тех, кого она презирает. И она с непрерывным возмущением отдается всем мужчинам, которые были бы слишком гадки для меня — для меня, лицемерки.

— Она кончила, она выплюнула всю грязь, — сказала Лилиан, переводя дыхание, и обернулась к Тронтола. Но он исчез, очень недовольный Лилиан. Он думал, что они поладили друг с другом; в ту же минуту, быть может, потому, что он поцеловал затылок Винон, она позволила Календеру продать, себя Темпелю. Он нашел, что она чересчур поспешна в своих решениях. Она напрасно искала его и казалась разочарованной. Винон догадалась о том, что произошло, и расхохоталась. После этого сестры заметили, что воспользовались совместным пребыванием с третьим, чтобы высказать друг другу то, что думали одна о другой. Они удивились: это совсем не входило в их намерения. Оставшись одни, они подумали о том, что можно было бы сделать еще, ничего не нашли и последним взглядом дали понять друг другу, как каждая из них рада, что она не такова, как другая. Затем они разошлись.

\* \* \*

Между тем герцогиня все танцевала. Она переходила из рук в руки; ей чудилось, что она скользит все дальше, точно входит в глубь сверкающих стенных зеркал, где празднество с гулом безбрежно разливалось по красным, трепещущим теплом странам, — и всюду, во всем этом гуле, шумела, точно мягкие, тяжелые шелковые знамена на южном ветре, ее собственная кровь.

Раз ей показалось, что ее кавалер исчез. Ей казалось, что она носится по залу одна, отрешившись от всего. Она откинула голову назад, почти закрыла в своем неистовстве глаза, а руки, белизны и благородства линий которых не скрывал глаз, слегка подняла. Из разреза платья выглядывала нога. На кончиках пальцев, став выше, она неслась, не зная куда, в объятиях бога. Такой она увидела себя в зеркале и улыбнулась воспоминанию: вакханке, которой она была в течение одной ночи, когда-то, в ранней юности, в год войны в Париже на балу в Опере. Та ранняя и непонятная маска была предвосхищенным отражением того, что теперь стало действительностью... «Но действительность ли это теперь? Где мое я? На том месте, где я стою в это мгновение, или в том воспоминании, или там, в зеркале — в какой маске и в какой Грезе?»

Она трепетала от каждого желания, которое вспыхивало где-либо в зале; каждый взрыв сладострастия, в котором извивалось чье-либо тело, вырывал стон из ее груди. Она приходила в ярость вместе с возмущенной Лилиан, она наслаждалась вместе с победителем доном Саверио и разделяла его милостивые и сильные желания. Она переживала вместе с бедным королем Фили его жалкий порыв и со всеми молодыми людьми вокруг себя невыразимую, готовую на смерть, тоску их по ее объятиям и устам. Несколько капель горечи из мучимой плоти Рущука проникло в нее, и все томление утопавшего в блаженстве тела дивной графини Парадизи.

В зале говорили о сцене между Лилиан и Винон. Нескольких слышавших повторяли отрывки из нее, Тронтола услужливо дополнял. Он рассказал и герцогине. Она встретилась с Винон у колонны, под терракотовым сатиром, игравшим на волынке и ударявшим в цимбалы, и сказала:

— Я люблю вашу сестру, Винон. Но вами я восхищаюсь: вы знаете, что значит наслаждаться! Все должно служить вашему наслаждению, даже немилость света. Я понимаю вас!

— Не правда ли, герцогиня? Я думаю, мне не хотелось бы наслаждения, если бы оно не требовало столько лицемерия.

— Что вышло из вас, беззаботной девочки! Великая любовница... А любовницы, как вы и я, скорее добиваются наслаждения, чем возмущенные фанатики свободы, как Лилиан и я... Вы знаете, что я собираюсь стать королевой?

— Вы пугаете меня, герцогиня. Сможете ли вы тогда милостиво забыть то, что узнали обо мне сегодня?

— Я попрошу вас стать любовницей моего мужа. Это облегчило бы мою задачу... Это в том случае, если я вступлю на престол Далмации в качестве супруги Фили. У меня есть выбор: я могу это сделать также в качестве возлюбленной Рущука. Что вы советуете мне?

— Связь с Рущуком. Мне власть не доставила бы удовольствия, если бы она была законной и не требовала борьбы и интриг.

— Пожалуй. Я была бы коронованной куртизанкой. То, чего я не добилась революцией, я получила бы, играя, в спальне.

Она наслаждалась этим представлением, она влюбилась в него. Винон засмеялась. Она небрежно протянула два пальца по направлению к Тронтола: он бросился к ней. В то же время она сказала:

— Герцогиня, мой муж.

И Жан Гиньоль низко поклонился.

\* \* \*

У него было лицо кроткого фавна, с большим мясистым носом, поставленным немного криво. В темно-каштановой бороде поблескивали рыжеватые нити. Светлые брови изумленно изгибались под плоско лежавшими волосами, а солнечные карие глаза смеялись. Его трудно было понять; он казался то застенчивым, то очень самоуверенным, то шутливым, то тоскующим, то наглым, то беспомощным.

— Здесь слишком жарко, — сказала она ему, — пойдемте подышим свежим воздухом.

Они прислонились в соседнем зале к открытому окну и несколько минут стояли молча. Дул северный ветер; сильный порыв его заставил вздрогнуть обоих. Герцогиня обернулась и заметила, что они одни. Жан Гиньоль не отрывал от нее взгляда; его дерзость показалась ей ребяческой.

— Мы можем пойти дальше, — сказала она. — Здесь столько места...

— Все, что вы хотите, герцогиня, — немного хрипло сказал он. — Только не тосковать по вас!

Она смутилась, — так искренно это звучало.

— Разве это так плохо? — почти томно ответила она. Он набросил на нее пуховую накидку и при этом коснулся пальцами ее плеча. Она закуталась в нее, озябшая и возбужденная. Потом бросила взгляд на бальный зал, из которого вырывался свет, точно сияющее фосфорное облако. Со всех сторон манили блуждающие огоньки. Ряд зал, по которым она проходила с поэтом, среди снопов света лежал почти сумрачный от одиночества. Герцогиня чувствовала, как судорога навеянного танцами сладострастия разрешается, уходит от нее, возвращается в тот очаг пламени. Она устала. Ее сердце, раньше бившееся с безумной быстротой, билось теперь очень медленно. В затылке и в темени она ощущала болезненное раздражение тайного возбуждения, подстерегавшего под видимой сонливостью. Ночь будет бессонной, она знала это заранее. И ей хотелось дать успокоить себя. Хотелось любить. Ее томило сладкое желание слышать серьезные, нежные слова, положить руки на склоненные перед ней плечи и позволить обожать себя.

— Разве это так плохо?

И она улыбнулась ему, подняв полные белые плечи.

— Это ужасно, — решительно объявил он, наморщив лоб.

— Но почему? — спросила она, искренне огорченная. — Какой яд я могла бы влить в жилы того, кто полюбил бы меня? Вы думаете, что я зла?

— Напротив, — нехотя сказал он, коротко качнув головой.

— Но я не знаю, кого вы могли бы любить. Ни один человек не в состоянии заставить вас полюбить себя.

— Это совсем не так трудно, — медленно, мечтательно сказала она.

Он становился все сдержаннее.

— Быть может, вы все-таки любите кого-нибудь... кого нет здесь и...

— И?

— И кто вполне понимает вас?

Она очнулась и с улыбкой подумал о Нино. Что понимал Нино? Но он любил ее. Она сказала:

— Я требую только мужества.

И ее улыбка стала совсем загадочной, немного легкомысленной, немного мечтательной: он не мог понять ее. Вдруг он спросил:

— Я вас кажусь очень глупым?

Она звонко рассмеялась.

— Я только всегда удивляюсь, когда тот, кто пишет циничные книги, в жизни оказывается таким невинным.

Его большой нос казался очень пристыженным.

— Только не обижайтесь, вы от этого нисколько не проигрываете. Это даже гораздо оригинальнее. Две молодых княжны чуть не дерутся из-за вас — право, когда я говорила с Лилиан, одно мгновение я видела по глазам Винон, что она не может больше выдержать; затем она занялась маркизом Тронтола. Вы же бродите по залам, немного рассеянный, и наконец развлекаете в углу старую даму.

— И это вы видели? А вы казались такой увлеченной.

— О, быть может, я всегда только кажусь... Но мы говорили о вас. Можно быть откровенной? Когда видишь вас, как-то не верится в вашу жизнь. Вы увезли одну княжну и женились на другой. Кроме того, вы тот человек, который в Европе, где никто больше не читает стихов, произвел стихами такой фурор, как другие...

— Биржевыми аферами или скандальными процессами — именно такой. Но вникните в мои стихи! Их язычество не только в невинном отсутствии стыда. Они языческие еще и потому, что отливают жизнь, великую жизнь и всех ее богов, в благоговейную форму, потому что в ветре, в солнце и в эхе заставляют предчувствовать некоего, кто стоит за ними, и потому что они дают понять, что этот некто — мы сами; потому что они прославляют нас и могучую землю, каждому из наших переживаний сообщают красивый лик и оставляют каждому из наших ощущений его собственное тело, его здоровое тело... Я очень велик, герцогиня, — я, давший выражение этому язычеству: ибо моими устами говорит эпоха, дивная, еще очень тревожная, только стремящаяся к оздоровлению эпоха Возрождения, к которой мы принадлежим. Избранные, в которых эпоха чувствует себя, чувствуют и меня: вы, герцогиня, прежде всех. Массы, встретившие меня вихрем одобрений и возмущения и расхватавшие сотни изданий, — они приветствуют или осыпают бранью во мне обыкновенного сквернослова.

Он прервал себя и спросил:

— Вам не скучно слушать все это?

Она не ответила. Он горячо и со вздохом сказал:

— Простите, мой вопрос был обиден. Если бы вы знали, мне все становится ясным с опозданием на две секунды... Теперь я перейду к княжнам и скажу вам то, что вы уже знаете; что я не соблазнитель и не struggler for life. Я сам не знаю, как все это могло случиться со мной. Я переживаю от всего только отражение. Я стою у бассейна между двумя статуями. Одна погружена в созерцание самой себя и прислушивается к себе, другая вглядывается в мир. Обе отражаются в бассейне, и я разглядываю их в воде, где они немного туманнее, немного чище, немного загадочнее.

— Вы сочиняете свою жизнь?

— Да... Многое, конечно, действительность. Так, я думаю, что Винон любит меня. Я твердо верю, что она любит только меня и что ее кокетство обманывает лишь других, но не меня.

Это он сказал очень гордо. Герцогиня нашла его трогательным.

— Напротив, Лилиан, — продолжал он, — холодна. Я никогда не воображал, что составляю что-нибудь для нее. Но я хотел пережить все это из-за красивого стиха! Я увез ее — о, я буду искренен — потому что она была княжна и прекрасна, и в своем несчастье доступна мне. Мы, мужчины, жалки, мы осмеливаемся взять только то, что доступно... Когда она стала моей, я мало-помалу заметил, что она моя жена. Она была мятежницей, она восстала против света, навязавшего ей Тамбурини. Я был бродягой, полным бессознательной, прекрасной ненависти! Она имела за собой позор и бегство и освободилась от всяких моральных обязательств: она обманывала и меня самым непристойным образом — словом, она была вне вопросов морали, как и я, потому что я мог рассказать о себе самые постыдные вещи. Ах! Мы были предназначены друг для друга. Она, возмущенная, чувствовала мои еще едва слышные стихи. Она была княжна и бедна, я был беден и поэт.

— Вы любите ее еще!

— А потом, когда Винон отняла меня у нее, и она стала совсем одинокой — ее книга, эта чудесная книга, которую она швырнула, как красивую, толстую, пятнистую змею, в лицо свету, так решительно, так безбоязненно, так свободно...

— Вы еще любите ее! — повторила герцогиня, восхищенная.

Он опомнился и весь съежился:

— Нет. Ведь она презирает меня.

— Но вы, вы!

— Вы слышите, меня презирают... Я как ребенок, я принадлежу тому, кто хорошо обращается со мной. Поэтому я остаюсь с Винон; она милая девочка. Когда я вижу Лилиан — она даже не избегает меня, — она так горда, она такая артистка! — мне хочется только плакать при мысли о том, какой я буржуа!

— Значит, вы любите ее.

— Люблю ли я вас самое, герцогиня? Это было бы гораздо интереснее. Ах! Тогда я должен был бы не только пасть духом оттого, что я буржуа. Тогда я мог бы спокойно повеситься, потому что я не дон Жуан и не Риенцо, не художественное произведение и не великий художник, не Иисус, не белокурое дитя, не старый клоун, не Гелиогабал, не Пук, не дон Саверио и даже не всегда Жан Гиньоль... А все это герцогиня, все это нужно вам!

Она остановилась в изумлении. Это было в длинной зеркальной галерее, среди золота и хрусталя, и она слышала, как замирали их шаги. В зеркале она видела подвижное, гримасничающее лицо своего спутника, его шутливую грусть — и видела, что он дрожал от тайного желания высказать ей в безобидной форме вещи, с которыми носился уже давно, которые взвешивал и закруглял в своем уме. Он увидел в зеркале ее улыбку и сознался.

— К чему хитрить! Я сдаюсь. Да, герцогиня, я интересуюсь вами уже много лет. Я читал светскую хронику, слушал все, что говорили о вас, разгадывал и дополнял... Да, я один из тех, кому вы дали материал для грез: я один из многих. Такая женщина, как вы, становится для молодого человека в пустыне суетливого города и чердачной комнаты спутницей жизни. В газете он иногда встречает ваше имя; оно написано для него золотыми буквами, и его мечта преследует ваши золотые следы до сказочного берега, уносится за вами в пышные, утопающие в цветах, шумящие от наслаждений города, на упоенные любовью моря или к старым, могучим творениям, в среду одухотворенных, все понимающих людей, которых юношами мы представляем себе живущими где-то в мире и в несуществовании которых убеждаемся лишь мало-помалу, с трудом...

— Я была вашей музой? — спросила она. — Вы хотите польстить мне, но вы не знаете...

— О, польстить! К чему льстить, когда сам слишком самоуверен, чтобы желать хорошего суждения о себе!.. В образе вашем, герцогиня, мне в течение десяти — двенадцати лет представлялись мои юные язычницы, мои хрупкие танагрские фигурки — уже тогда, когда они еще неизвестные стояли в моей мансарде. Я знал о вас, как о великой поборнице свободы. Потом в один прекрасный день вы стали фантастической искательницей красоты. Затем вы превратились в жрицу любви, которая стонет и вскрикивает в моих книгах, и которой я обязан своей славой.

Он продекламировал это глубоко серьезным тоном, с торжественными жестами.

— Теперь я ежедневно смотрю на ваше лицо и ежедневно нахожу новое. Вы очень добры, вы фривольны, вы то жестоки и небрежны, то задорны, то полны чистого веселья, то мягки до грусти.

«Вы смертельно пугаете Рущука с чистой высоты вашей бессмертной грезы о свободе. Вы язвите ему и насмехаетесь над ним, бедного же короля Фили вы утешаете и щадите. Вы — легкий дух, играющий этими бедными, не имеющими выбора, телами... Среди сладострастнейшего вальса вдруг раздается, точно безумный аккорд, ваше рыдание... Вы возмущаетесь с Лилиан, наслаждаетесь с Винон. Вы — Винон и Лилиан и все остальное. Я уже сказал вам, чем надо быть, чтобы удовлетворить вас... Посмотрите на себя в зеркале — сосчитайте себя!

Зеркала стократ повторяли ее образ. То с обращенным вперед лицом, то со сверкающим затылком, то с задумчивыми глазами, то с улыбкой, то в мечтательном сумраке, то бледная и холодная, то искрящаяся от радости и света свечей, то похожая на мимолетный фантом, двигалась она — всегда она сама — под меняющимся светом и исчезала в стеклянной глубине.

Тихо, немного печально, подумала она о вакханке, которой была когда-то, в юности.

— Я прежде уже раз узнала себя, — сказала она, — какой я была много лет тому назад в течение одной ночи... Посмотрите, вот там, сзади, на ту маленькую фигуру под золотыми гирляндами двери: это Хлоя, призывающая Дафниса.

— Это из вашего детства?

— Да.

— Игра. Вы — игра, ежедневно обновляющаяся. Вы — неожиданное настроение, нечаянное ощущение, шествующее в здоровом, праздничном теле. Даже ваши платья — душа! Язычница, каждое утро просыпающаяся, точно вновь родившись на свет, с новым солнцем в глазах, с полным забвением вчерашних сумерек!.. В эту минуту вы вся — дух и на несколько мгновений настроены так, как настроены всю жизнь чисто духовные люди, о каких грезил тот юноша. О, это хорошо, что вы сейчас снова станете иной! Если бы все осталось как теперь, как будто вы стоите с цветным мелом в руке и рисуете мне картины, а я читаю вам стихи, и в обмен душ вы вкладываете как раз столько женского очарования, сколько нужно, чтобы дать гений мужчине, который чувствует вас: о, это было бы опасно! В конце концов он полюбил бы вас!

«Полчаса тому назад, — подумала она, — мне хотелось быть любимой им».

Она недовольно сказала:

— Из всех моих настроений вы забыли одно очень естественное.

— Неужели?

Она посмотрела на него в зеркале. Он казался элегантным, светским, вызывающим в своем синем фраке, высоком воротнике, бархатном жилете. Но его лицо фавна, казалось, беспомощно выглядывало из-за стволов леса или из мансарды, о которой он говорил.

Она повернулась и пошла обратно по залам, по которым они пришли. Он последовал за ней, безгранично испуганный переменой в ее настроении, спрашивая:

— Можно мне в другой раз рассказать вам, что я вижу в моем бассейне, в бассейне с двумя статуями? Я вижу в бассейнах и зеркалах только вас.

Якобус говорил:

— Следовать за вами к каждой полосе воды и к каждому куску стекла.

— Он похож на Якобуса не только этими словами. Мне скучно с ним.

Перед ними, горя и волнуясь, открылся бальный зал. Несколько запоздалых игроков Из комнат с рулеткой брели к нему, точно ослепленные насекомые.

Жан Гиньоль мягко просил:

— Можно мне быть тихим, покорным, нежным толкователем вашей души?

Она возразила:

— Толковать не имеет смысла, когда можно столько переживать.

\* \* \*

Она отослала его со своей накидкой.

Тотчас же из-за колонны выступил какой-то господин и поклонился ей.

— Господин Тинтинович?

Обветренное лицо придворного задвигалось, как будто он собирался щелкать орехи.

— Здесь, герцогиня, чувствуешь, для чего рожден!

— Для чего же, мой милый?

— Я обладал многими женщинами, я работал в рудниках и спал на диванах игорных домов Парижа. Теперь я граф и очень богат. Для вас я готов сделать еще больше! — с силой воскликнул он.

— Вы говорите, по крайней мере, то, что думаете. Итак?

— Там, в вашем бальном зале, видя вас танцующей, я сказал себе: граф, ты прогадал жизнь, если герцогиня не будет твоей. Ты возьмешь ее с собой, никто больше не увидит ее. Ты сделаешь ее королевой Далмации, для того, чтобы она вышла за тебя замуж. Короля ты устранишь, свою жену тоже, Рущука растопчешь. Всем, кто стоит на твоем пути, придется иметь дело с твоим оружием. И она будет королевой, а ты будешь обладать ею — всегда.

— Благодарю вас, — ответила она. — Мне хотелось бы прежде сделать еще один тур вальса.

Тинтинович остался один, в сильном недоумении.

Но на пороге к ней подлетел Палиоюлаи.

— Он оскорбил вас своей навязчивостью, негодяй? Он будет надоедать вам еще больше, я знаю его. Прикажите, герцогиня, и он исчезнет в эту же ночь. Верьте моим честным намерениям, я очень могущественная личность...

— И вы убьете вашего короля, его министра, вашу жену и всех, всех, кто мешает вам жениться на мне, иметь меня для себя одного — навсегда. И все это потому, что сегодня ночью вы чувствуете себя немного возбужденным. Благодарю вас за доброе намерение.

Она танцевала — и в глазах и лепете всех молодых людей, руки которых касались его корсажа, она узнавала то же желание — сдержанное, горькое или упрямое, — похитить ее, запереть, обладать ею — всегда. «Ни один не способен любить меня в этот час, когда я прекрасна и жажду любви, — не думая об утре, когда я стану чужой. Жан Гиньоль, расчленивший все движения моей души, не почувствовал — или не хотел почувствовать — одного, которое относилось к нему самому. В глубине души он, может быть, боялся — как и все остальные. Но он хотел бы всегда, всегда лежать у моих ног, как хотели бы этого и Тинтинович, и Палиоюлаи, и Фили, и Рущук, и все остальные. О, я изведаю многих из них — быть может, и того, кто в это мгновение дышит над моей грудью. Но это будет только так, как будто я подношу к губам букет. Ни один человек не отвечает мне. За эхом стою я сама: так говорит мой поэт. Во всех зеркалах, стократ, до самой зеркальной глубины, танцую я — всегда я, — совсем, совсем одна».

Воздух в огромном зале был удушливый, кисловатый и жаркий. Вальсы стонали лихорадочнее и томительнее. На полу шуршали сухие цветы. Шорох шаркающих ног звучал безутешно. Сквозь шторы просачивался дневной свет: то одна, то другая женщина замечала в зеркале желтизну своего лица и исчезала. Рущук сказал Измаилу-Ибн-Паше: «Чтобы больше не слышать твоей фразы», — и ушел с Мелек. Винон уже была в гардеробной. Маркиз Тронтола вертелся между дверьми в ожидании благоприятного момента. Вдруг он улизнул, бросив косой взгляд на плаксивое лицо дивной графини Парадизи. Она утешилась с мистером Вилльямсом из Огайо. Лилиан обменялась несколькими словами с Рафаэлем Календером. Затем она, белая и надменная, вышла из зала, не обращая внимания на лорда Темпеля, поклонившегося ей. Он последовал за ней, спокойный и очень надменный. В задних комнатах дон Саверио вел деловую беседу с некоторыми господами, которым везло в карты. Графы Тинтинович и Палиоюлаи встретились последними у выхода. Они хотели враждебно разойтись, но повернулись, пробормотали: «Бедный друг» и потрясли друг другу ловкие руки. Подле них зазвенел женский смех, — и придворные тут же поладили с двумя стройными, накрашенными блондинками, экипаж которых куда-то исчез.

По опустевшим залам с их полным театрального обмана блеском, неутомимо шагал, помахивая скипетром, король Фили в пурпурной мантии и бумажной короне. Время от времени он делал повелительный жест и говорил, поднимая кверху ручки:

— Ну, куда вы девались, господин фон Рущук? Теперь вы, наконец, знаете, кто из нас двух король? Один из нас господин! — смело выпрямившись, утверждал он.

Но лакеи уже тушили свечи. Король видел, как тень поглощает его царство; вздыхая и путаясь в своем шлейфе, он двигался по все более узкой полосе света. Наконец, бледный свет утра выгнал его из дому, мимо зевающих лакеев. Никто не обратил на него внимания.

Герцогиня стояла на балконе своей комнаты; она увидела короля в утреннем свете на пустой улице. Наклонившись вперед, видимо робея, он негибкой походкой сановника шел по дороге в своем печальном великолепии. Он показался ей концом празднества. Она вспомнила неиспользованное сладострастие, которое носила по залам на своих губах, своей груди, своих скользящих бедрах и посмотрела вслед этому величеству, на которое не было никакого спроса.

Она послала за ним лакея; иначе король заблудился бы. Лакей со скучающим видом шел впереди, в двух шагах; потом шел Фили, а за ним мальчишка-булочник, которого привлекло это зрелище. К нему присоединился какой-то человек, несший дрова. За ним подошла девушка с корзинами овощей, затем другая с пустыми руками, в красном жакете, со следами ночи на лице. Все они шли молча и тихо ступали. На их лицах не было насмешки, скорее робость. В этой странной фигуре они видели что-то великое, которое, они не знали почему, попало к ним на улицу в шутовском виде. Парни подняли с земли шлейф короля Фили. Так шествие зашло за угол.

\* \* \*

Она поручила кавалеру Муцио выведать, сколько дон Саверио заработал в прошлую ночь. Муцио уже знал это. Принц сам не играл; но налог на дам и игроков принес ему 55. 000 лир.

— И к этому блестящему делу, — заметил секретарь, — присоединяются доходы с соседнего дома, где у его сиятельства есть дело не менее блестящее.

— Какое дело?

— О, в нем также принимают участие дамы и мужчины — и даже очень горячее участие. Это в некоторой степени дополнение к дому вашей светлости.

— Я хочу взглянуть, что там такое.

— Не советую. Вы разгневали бы принца. К тому же ваша светлость были бы сами слишком... изумлены.

— Тогда скажите, что там происходит.

— Ваша светлость, платите мне сто лир, и за это я выдаю многое. Но так как и дон Саверио иногда дарит мне сто лир, то должно быть нечто, чего я не выдаю.

И он ухмыльнулся, показав желтые зубы.

Поздно вечером появился, напевая, дон Саверио, матово-белый и гибкий; он был навеселе. Он сообщил, что фехтовал, имел деловое свидание на бирже и с подругами своей сестры Лилиан побывал в кабачке. Фрак на груди у него оттопыривался, так туго его карманы были набиты ассигнациями. Он сел и принялся есть конфеты. Он внушал герцогине презрительное и недоверчивое расположение, точно красивый, желтый дикий зверь, прогуливающийся на свободе после успешного применения когтей и зубов.

Она поцеловала его; он сейчас же вытащил из кармана лист бумаги.

— Здесь у меня имена почтенных людей, добивающихся мест городских чиновников. Подпиши это, дорогая. Твоей рекомендации придают значение, и ты поможешь всем.

— И тебе тоже?

— Как это мне? Прежде всего городскому управлению, которому мы дадим дельных служащих. В награду оно даст нам еще два куска земли.

— Оно поразительно щедро, ваше городское управление.

— Что ты хочешь? Мы особы, с которыми считаются.

Она подумала. «Претенденты, — думала она, — дают ему взятки. Он дает взятки представителям города. За это он получает дома почти даром. Но взятки он заставляет давать меня, а дома оставляет себе».

Она покачала головой.

— Твои дела становятся слишком запутанными. Я не последую за тобой, ты напоминаешь мне свою покойную мать.

— Ах, что там! Maman вбила себе в голову, что должна вернуть свои потерянные деньги, хотя бы их пришлось вытащить из карманов других. У меня более здоровые взгляды: я убежден, что деньги других так или иначе попадут в мои карманы. Но вы, женщины, похожи все одна на другую; в денежных делах вы или не знаете меры или трусливы. Вам недостает разумной силы... Ты не хочешь иметь никакого отношения к моим листам, не правда ли? Я понимаю это. Вечно подписывать свое имя не может не надоесть такой женщине, как ты. Я и не требую этого. Дай мне только доверенность. У меня бумага с собой, одна минута — и готово. Нотариус подписал заранее...

Она взяла лист и прижала к его лицу. Кончик его носа проткнул бумагу. Он мелодично засмеялся:

— Какая милая шутка!

Он поцеловал ее в шею. Она ответила поцелуем; он казался ей очень красивым в своей алчности.

У нее еще были закрыты глаза после страстного объятия; он сказал:

— Чтобы не забыть: вот, возьми доверенность, — эту дырку мы заклеим, это пустяк... Что, ты не хочешь? Это меня просто удивляет.

Он немного нетерпеливо привел себя в порядок перед зеркалом.

— Ты передумаешь. Кстати, я хотел тебе сказать, что у тебя плохой вид. Надо будет сделать что-нибудь для тебя. Придется прекратить балы и приемы.

— Ну, что ж доверенность? — небрежно спросил он на следующий день, входя в ее комнату. Она лежала на солнце, перед диваном, прижавшись грудью к подушкам, а губами к лицу красивой девушки. Со вчерашнего дня ее томило желание увидеть маленькую прачку с глазами газели и приплюснутым африканским носиком. Муцио привел ее и, ухмыляясь, сказал: «Но ваша светлость не должны давать ей белья». Она не дала ей белья.

— Какая милая картинка! — сказал дон Саверио. — А что ж доверенность?

— Ты надоедаешь мне.

— Это мы выпроводим отсюда, — тотчас же решил он. Он схватил девушку и вытолкнул ее за дверь.

— Ты бледна, дорогая, а временами вдруг становишься красной. Твоя рука холодна, что с тобой?

— Ничего особенного.

Она не считала его вправе интересоваться процессами, происходившими в ее теле. Это все были болезненные явления, связанные с ее критическим возрастом. Они ежедневно менялись; боли то там, то здесь, неприятные ощущения, менявшие направление, как ветер. Она сказала:

— Я удивляюсь тебе. Будь так добр, оставь меня одну.

— Ты кажешься также возбужденной. Оставить тебя одну было бы бездушно.

Он приотворил дверь и крикнул:

— Доктор, войдите!.. Ты эксцентрична, дорогая. И вид у тебя страшно плохой. Доктор Джиаквинто исследует тебя. Поосновательнее, доктор!

— Вы сделаете мне одолжение исчезнуть? — ласково попросила она, поднимаясь.

Врач был маленький худой старичок, в желтом костюме, с крашеными усиками, вертлявый, как юноша. Кончиками пальцев он то и дело ласково проводил по своей лиловой шелковой рубашке. Вдруг он попробовал силой взять герцогиню за руку.

— Мой пульс в эту минуту бьется слишком быстро, — объявила она, играя маленьким ядром из яшмы с золотой крышкой, которое принц придвигал к ней каждый раз, как говорил о доверенности.

— Возможно, что у меня легкий жар. Рука у меня немного дрожит. Она может уронить эту чернильницу, которая легко открывается, на вашу красивую рубашку. Это было бы очень неприятно!

Старик отскочил.

— Жар у вашей светлости имеется несомненно, — залопотал он. — Вашей светлости необходим полный покой. Тень, запертые окна...

— Слушай внимательно, дорогая, — сказал принц. — Я замечаю каждое слово.

— Никаких выездов, никаких визитов, — словом, запереть двери дома, — продолжал доктор.

— Запереть двери дома, — повторил дон Саверио. — Это самое главное.

— Мне кажется то же самое, — сказала она, пораженная и оживленная. Ведь это было настоящее приключение.

Возлюбленный и врач на цыпочках вышли из комнаты. С этого часа слуги неслышно скользили по коридорам и комнатам. Герцогиня иногда присушивалась с легким страхом. Больше не было слышно забавной сутолоки говорящих животных, которые пели, скатывались вниз по перилам лестниц, лгали, прислушивались и держались друг за друга, как держатся хвостами обезьяны. Теперь она видела только робкие фигуры, жавшиеся иной раз вдоль стены; они пугались, когда их окликали, что-то шептали, и лица их были бледны. Электрические звонки глухо дребезжали; их обмотали шерстью.

— Это долго будет продолжаться? — спросила она Муцио.

— Пст! — произнес кавалер, сильно испугавшись, и отскочил в угол. Она громко засмеялась, и он во всю свою длину упал на ковер.

Она призвала к себе Чирилло, портье, и сказала ему, что желает выехать из дому.

— Ты не будешь настолько глуп, мой друг, чтобы хотеть рассердить меня. Чего ты ждешь от принца? Ты ведь знаешь, что он может вознаградить тебя только моими деньгами... Вот тебе тысяча лир.

Чирилло поклонился так низко, что его тройной подбородок почти коснулся земли. Когда он поднялся, он был так же спокоен и величествен, как прежде.

— В таком случае я обещаю тебе пятьдесят тысяч лир. Если хочешь, я дам тебе вексель.

Колени Чирилло чуть-чуть подогнулись, но только на секунду. Он на мгновение закрыл глаза, потом принял прежний вид.

— Ты не хочешь? В таком случае иди.

Вечером она опять призвала его к себе. Он пришел не скоро.

— Сто тысяч, — только сказала она.

Толстый, весь в галунах, портье упал на колени.

— Смилуйтесь! — простонал он. — Ваша светлость, не прибавляйте больше ничего! Я мог бы сделать это!

Он поднялся и, спотыкаясь, вышел из комнаты.

Ее сострадание длилось недолго; она позвала его обратно. Но вместо него появился Муцио с укоризненной гримасой на лице.

— Зачем ваша светлость искушаете слабого человека? Ведь он только плоть. Почему ваша светлость не обращаетесь ко мне — к духу и воле? Я со спокойным достоинством дал бы понять вашей светлости, что вы не можете выехать и за сто тысяч лир, потому что ваше здоровье не позволяет этого... К тому же вы, вероятно, не вернулись бы.

— Муцио, вы получите двести тысяч.

— Это целое состояние! — сказал он с искренним восхищением. — Но — и он разом опустил приподнятые плечи — я должен был бы проживать его в Америке. И еще вопрос, добрался ли бы я туда невредимым. Здесь, в Неаполе, я всегда заработаю на жизнь; я умерен и люблю свою родину.

— Жаль, — сказала она и отпустила его. В душе она была почти счастлива прочностью своей тюрьмы и всем тем, что отваживались делать с ней.

Утром, когда улица пела и сверкала, она опять лежала в окне между каменными фантазиями фасада. Подле нее к фиолетовому небу из причудливой, пузатой церкви несся звон. Ангелочки на улитках скакали перед ней — в сказочную страну.

На улице, окруженная любопытными, сидела сомнамбула с завязанными глазами, черная и убогая, и предсказывала счастье. Босоногие парни в красных шерстяных колпаках продавали слизистых, хрящеватых, морских животных, обнаженных или в скорлупе. Солнце пестрило лица девушек, их платки сверкали. Из мисок бежавшего повара вырывался пар кушаний. Искрились медные котлы, развешенное белье шумело на ветру.

На противоположной стороне улицы старик в лохмотьях, с бритым подбородком, вертел маленькую детскую шарманку. Среди шума никто не слышал ее слабых звуков. Какой-то мальчик подошел и стал подпевать. Старик бросил ручку, добродушно и с поразительной силой схватил мальчика сзади и посадил его себе на плечо.

«Кто это так обращался с детьми? — думала герцогиня. — Проспер?»

Он в упор, с ожиданием, смотрел на нее. Она улыбнулась. Он подошел к самому окну. Мальчик выпрямился, держась за голову старика, и вытянул руку. Герцогиня написала несколько слов, завернула в бумажку деньги и осторожно бросила. Мальчик подхватил бумажку и сунул ее за ворот старика. Она отошла от окна.

«Собственно говоря, еще слишком рано освобождать меня, — думала она. — Но я хотела бы узнать, что из этого выйдет».

И она ждала с любопытством, как ребенком в своем саду, когда Дафнис покидал ее, и она радовалась непредвиденным приключениям следующего дня.

Но уже вечером пришел Муцио.

— Ваша светлость, снова недостаток доверия! Чем я заслужил это? Значит, это правда, что сильные мира не терпят прямодушных слуг?

Он с благородством выпрямился, его блестящий сюртучок слабо затрещал по швам.

— Если бы ваша светлость удостоили меня вопросом, должны ли вы вмешивать в свои дела полицию, то я, правдивый, как всегда, когда лгать бесполезно, ответил бы вашей светлости: полиция только усложнила бы наше дело. Потому что она не захотела бы ничего сделать, а должна была бы все-таки делать вид, будто хочет что-то сделать... Но ах, ваша светлость не удостоили меня этим вопросом. Вместо меня вы послали другого, чужого, подозрительного нам человека, которого полицейские, конечно, сейчас же задержали. Еще счастье, что они известили о происшедшем только меня, а не его сиятельство, принца. Я просил властей хранить молчание. Его сиятельству не слишком миролюбивый образ действий вашей светлости причинил бы прямо-таки опасное огорчение.

— Мне было бы искренне жаль, — ответила герцогиня. — В следующий раз я устрою это получше, чтобы не было неудачи. Тогда его сиятельству придется поспешить укрыться в безопасное место, и у него даже не будет времени поплакать обо мне.

Муцио сказал:

— Я сделаю это за него: за несчастного, обладавшего такой женщиной. Ведь это несчастье — обладать вами, ваша светлость, раз придется когда-нибудь потерять вас.

\* \* \*

Она не получала даже газет; на ее требования ей отвечали, что ее необходимо оградить от волнений, которые они с собой приносят. Но карточки посетителей приносились ей. Каждый вечер их набиралась целая кипа, с именами, которые она едва знала: посетители ее празднеств, те, которые приходили ей представиться, и другие, в которых она в течение одной ночи возбуждала, желание. Она думала об элегантном часе на Корсо и о покрытом парусами море и ощущала легкую гневную тоску; потом с улыбкой думала о том, что, вероятно, из-за этой-то тоски дон Саверио и велел подавать ей карточки.

Сам он не показывался уже целую неделю.

Она долгие часы прогуливалась по нарядному саду, полному театральной гидравлики. Но козлоногие любовники беспомощно стояли против пышных нимф: вода больше не била. По ту сторону высоких стен лавра она видела кусок соседнего дома. Днем он казался необитаемым. «Для чего его употребляет Саверио?» — думала она. Вечером ставни открывались. Появлялся свет, слышался смех, поднималась праздничная суета.

В одну холодную, тихую ночь герцогиня посмотрела наверх. Там за освещенным окном стояла декольтированная, белая от пудры женщина в красном бархате. Вдруг лунный свет залил герцогиню. Женщина наверху распахнула окно и простерла руки.

— Нана!

Бывшая камеристка делала безутешные знаки, указывая назад, где раздавался звон, и в тени что-то отливало золотом. Она приложила палец к сердцу и к губам. Герцогиня знаками дала ей понять, что это ничего не значит. Она начала догадываться, какое блестящее дело устроил в соседнем доме ее возлюбленный.

Наконец, он пришел.

— Доброе утро, прекрасная госпожа. У тебя вид уже гораздо лучший. Скука принесла тебе пользу; я уверен, что теперь ты дашь мне доверенность.

— Посмотрим.

Она привлекла его в свои объятия. Он был ослепителен, победоносен — божественный палач.

— Вот бумага и перо. Потом вознаграждение для маленькой женушки.

— А! Ты думаешь, я должна платить за твою любовь! Ты бросаешь вызов моему чувству чести!

Она тихо и жестко засмеялась прямо в рот ему. Он покраснел и рванул кружева у нее на груди. Она заставила его долго бороться. Она отвечала на его враждебные поцелуи и при каждом из них думала о какой-нибудь из его низостей: о вымогательстве, о физическом насилии, о контрибуции с женщин. У нее было бешеное желание спросить его: «Ты и с своей сестры Лилиан берешь что-нибудь, когда она зарабатывает деньги на наших вечерах?» Но она молчала. «Пусть он считает себя более сильным! Он думает, что окружил меня своей челядью и запутал меня, безоружную, в свою ложь, свои мошенничества с домами, свои подкупы, свои ростовщические дела, свою торговлю женщинами. Он считает меня дичью, а себя охотником, бедняжка. Какое несравненное наслаждение видеть его насквозь, заставить его бросаться от одной хитрости к другой и принудить его отдать свою любовь — без вознаграждения. Ах, борьба за творение с Якобусом была бледной в сравнении с наслаждением сломить этого».

Дон Саверио оказался слабейшим. Это повторилось несколько раз. Затем он удалился в плохом настроении.

В тот же вечер он опять явился. Она лежала усталая и томная, более расположенная к мечтательности, чем к борьбе. Он вышел нагим из своей уборной; она задрожала перед ним. Он был неумолим, у нее вдруг не оказалось никакого оружия. Он совершенно не говорил о доверенности. Его тщеславие взяло перевес, он думал только о том, чтобы выказать себя сильным. Он грубо взял ее. Его белые руки осыпали нервными ласками все ее члены. Она чувствовала себя слабой, она поняла, что совершит неосторожность, но ей было не до осторожности.

— Дай мне ключ! — просила она.

— Теперь, ночью?

— Я хочу за город, к морю, хочу быть свободной.

— Так подпиши!

— Нет! Я буду кричать из окна!

— Его закроют решеткой. Подпиши.

Его ласки начинали становиться немного мучительными.

— Нет!

Он чарующим тенором, пластично откинувшись на подушки, напрягши горло и закруглив руку, запел арию Фра-Дьяволо.

Он заснул; она сидела возле него, опершись подбородком на руку, закрыв грудь волной своих черных волос, и говорила себе:

— Когда-нибудь я, может быть, сделаю это.

Она почувствовала смутное искушение убить его.

— Неужели я люблю его? Почему у меня является такая мысль? Неужели я люблю его?

— Я погибла! — бормотала она, неподвижно глядя перед собой, в утренний сумрак. — О, кто говорил когда-то эти самые слова?

— Бла! Она исповедалась мне в этом. Как-то раз она вдруг поняла, какой конец ждет ее и Пизелли!

На ночном столике лежала книга Жана Гиньоль; она в полусвете скользнула взглядом по нескольким стихотворениям, которые знала наизусть. Вдруг она подняла глаза и улыбнулась.

— Между ним и Пизели несомненное сродство. Но Бла и я — о, Биче, для тебя это было серьезно до ужаса. А я — я только играю...

Она сидела в стеклянном зале под пальмами, завтракала и читала. Появился дон Саверио, хорошо выспавшийся; она почти не обратила на него внимания.

— Ты, кажется, уже совсем не боишься, — наконец, заявил он, задетый.

— Ты просто надоел мне.

— Но доверенность!.. Ну, хорошо, я даю тебе два дня сроку.

— Ты — мне! — задумчиво сказала она. Она не сразу вспомнила, по какому праву, собственно, он принимает такой важный вид.

На следующий день она опять была бурна, ненасытна, безудержна. Через час он должен был сдаться; среди своего триумфа она вдруг осмотрелась.

— Что я сказала тебе при приезде? Что наша огромная спальня напоминает поле битвы! Хорошо я предсказала?..

Она снова зажгла в нем кровь. Наконец, он упал на подушки, разбитый, задыхающийся, с опухшими веками. Она нагнулась к нему.

— Хочешь доверенность? Я дам ее тебе, мой возлюбленный.

— На что она мне? — замирающим голосом прошептал он.

Она долго наслаждалась этими словами. Затем нежно сказала:

— Посмотри, над нашей постелью изгоняют Агарь. Это доверенность, она плачет, ты прогоняешь ее в пустыню.

Он долго спал. После обеда, когда она в своей комнате курила, рассматривала резные камни и прислушивалась к юношескому голосу, певшему внизу, он полуодетый ворвался к ней.

— Я только что вспомнил. Ты обещала мне доверенность. Вот бумага.

— Благодарю вас, мой милый. Мне она не нужна.

— Как? Ведь не снилось же мне это?

— Нисколько. Хотя ваши умственные способности были не в особенно блестящем состоянии. Но я обещала ее вам.

— В таком случае...

— В тот момент я, может быть, даже дала бы ее вам: кто знает?..

— Это ужасно...

Он схватился за лоб, на котором выступили капельки пота.

— Вы дрожите, друг мой. Вы становитесь нервны, вы должны беречь себя. Я прикажу позвать доброго доктора Джиаквинто, советы которого были мне так полезны.

— Но вы обещали!

— Успокойтесь, я ведь не отрицаю.

— А то, что обещаешь...

Она пожала плечами, а он все повторял:

— Но раз вы обещали!

Он не понимал ее, он был искренне возмущен ею.

\* \* \*

Однажды утром она сидела, держа в руке карточку, которую нашла среди кучи других, поданных ей. Она вертела ее между пальцами и думала о характере своего секретаря. Когда он пришел, она дала ему карточку. Он прочел:

— Леди Олимпия Рэгг.

Он посмотрел на нее с напряженным вниманием.

— Я прошу вас, Муцио, я просто-напросто прошу вас навестить эту даму. Никто никогда не узнает, что вы сделали это. Вы скажете ей только, что я опять здорова и хочу выехать, и для этого прошу ее помощи. Леди Олимпия спросит, что она может сделать. Тогда вы предложите ей пойти с вами к этому господину.

Она протянула ему открытое письмо. Муцио прочел адрес английского консула, мистера Уолькотта. В первый раз с тех пор, как его знала герцогиня, с его лица исчезла всякая насмешка. Он низко, с искренним почтением, поклонился.

— Ваша светлость, вы достойны удивления. Я сделаю все, чтобы угодить вам, из одного только восхищения...

Он приложил руку к сердцу.

— ...потому что женщине, у которой являются такие идеи, надо волей-неволей предоставить свободу. Все равно, ничто не поможет.

Она живо и обрадованно воскликнула:

— Ничто не поможет: то же самое я сказала себе перед этим, подразумевая мою борьбу с вами. Он не несимпатичен, этот Муцио, сказала я себе. Интрига доставляет ему бескорыстное наслаждение. Он не так скоро даст мне уйти, он будет меряться со мной в изобретении хитростей, пока я буду в силах бороться с ним. Он, действительно, ловок: я думаю, он все снова будет расстраивать мои планы. Ничто не поможет, я должна прибегнуть к его помощи, иначе игра может продолжаться вечно. Как только я скажу ему: кавалер, без вас я беспомощна, он почувствует ко мне легкое презрение и выпустит меня.

Она улыбнулась. Он горячо отрицал.

— Что касается денежного вопроса, — сказала я себе, — то он у Муцио на последнем плане... Но, разумеется, я об этом не забуду.

Он сделал полный достоинства жест.

В час завтрака она сидела одна и ждала, приятно возбужденная. Амедер к своему удивлению должен был поставить три прибора. «Обойдется ли без насилия? — думала она. — Чирилло обладает порядочной силой».

Пробил час. В передней зазвучали спокойные голоса. Дверь бесшумно распахнулась. Вошла леди Олимпия, лишь немногим торопливее обыкновенного.

— Дорогая герцогиня, я в восторге.

За ней шел коренастый господин в рыжем парике, с красноватыми бакенбардами на красноватом лице. Он вынул руки из карманов брюк.

— Мистер Уолькотт, — сказала леди Олимпия. — А это мой сын. Подойди, Густон.

— Сэр Густон, я очень рада... Амедео, четвертый прибор.

Амедео, казалось, был в восторге. Лакеи чуть не кувыркались от усердия. За дверьми какая-то камеристка звонко запела. Звонки зазвенели вдруг так же пронзительно, как раньше.

Гости выразили по-итальянски сожаление о болезни герцогини, затем заговорили по-английски о каморре. Сэр Густон слушал и с аппетитом ел. Он был белокур, молод, от него пахло свежестью, фигура у него была крупная и пропорциональная.

— Ваша светлость могли бы оставить дом с миледи и со мной и не возвращаться больше, — сказал Уолькотт. — Но принц не считал бы себя побежденным. Прежде надо его безнадежно осрамить.

— Срамом здесь, в Неаполе, только и живут люди, — крайне презрительно бросила леди Олимпия. — Почему бы их иначе боялись?

— Осрамить перед порядочными людьми, — настаивал консул. — Тогда и мошенники от него отрекутся. Его сиятельство должен исчезнуть на некоторое время, тогда герцогиня будет окончательно освобождена от его притязаний.

— Где эти порядочные люди?

— Есть несколько. Я соберу их. Потом вся колония.

— Сегодня вечером! — воскликнула герцогиня.

— Это трудно устроить. Но я сделаю это. Я пойду собственнолично ко всем и обещаю необыкновенные вещи.

— И с правом, мистер Уолькотт; будет очень весело. Я дам вам еще список моих друзей...

— Альфонс! — приказала она. — Мои гости остаются здесь. Велите приготовить комнаты.

Мажордом поспешно поклонился и исчез. Через некоторое время она опять позвала его:

— Покажите господам их комнаты.

— Комнаты? — спросил он.

— Альфонсо, сегодня вы не будете больше шутить, понимаете? Вы подождете, не вздумаю ли пошутить я.

— А его сиятельство? — воскликнул фальцетом, дрыгая руками и ногами, вертлявый старик. — Как я могу дать комнаты? Об этом завтраке его сиятельство ничего не узнает. Если ваша светлость захотите уехать из дому, то никто не будет знать, как это могло случиться. Ворота открыты настежь. Портье лежит в постели, у него ревматизм; что его сиятельство может поделать с этим?.. Но комнаты, — как я могу дать комнаты гостям в этом доме, где должна царить гробовая тишина, потому что ведь ваша светлость тяжело больны?

— Сегодня вечером, любезный, придут двести человек. Ты можешь сказать его сиятельству, что ты никого не видишь: представиться слепым — самое умное. Может быть, его сиятельство примет этих двести человек за галлюцинацию. Ну-с, итак — комнаты.

— Ваша светлость, не могу!

Он корчился, прыгал с места на место, строил гримасы и жалобно стонал.

Сэр Густон до сих пор не произнес ни слова. Он, не двигаясь, с любопытством смотрел на старика во фраке и коротких штанах, точно на злое животное, которое бесполезно суетится. Вдруг он, не теряя спокойствия, сделал шаг вперед и ткнул мажордома кулаком в нос.

— Комнаты! — сказал он по-английски.

Альфонсо покатился под стол; все удивленно смотрели вслед ему. Он вылез, держа руку у лица; из-под нее капало что-то черное. Он низко поклонился, сначала сэру Густону, потом герцогине и вышел из комнаты.

— Вы полезный человек, — объявила герцогиня молодому человеку. — Я думаю еще воспользоваться вами сегодня вечером.

Он удалился один в бильярдную. Консул ушел. Леди Олимпия сказала приятельнице:

— Дорогая герцогиня, я довольна. Вы уже начали извлекать пользу из моих советов. Вы оставляете мужчинам их поэтические бредни, не правда ли, а себе берете действительность, которая так проста. Разве она не доставляет большого удовольствия?.. Только одному вам остается научиться: обрывать вовремя. Я не требую, чтобы вы, как я, принципиально довольствовались одной единственной ночью: я думаю, для этого нужно известное целомудрие — но оставим это... Только обрывать вовремя! Тогда с вами не случилась бы эта отвратительная история.

— Было бы очень жаль, если бы я была лишена этого приключения. Оно — часть моей жизни, оно делает меня счастливой.

— Раз вы так думаете... Но ваш бедный маленький секретарь разливался рекой.

— Муцио?

— Он излил свою душу. Он лежал на коленях и молил за свою госпожу. Он рассказал, что все испробовал для ее спасения; я — его последняя надежда. Он обращался к полиции: она в союзе с ужасным доном Саверио. Он обегал всех иностранцев-врачей; ни один не хотел рискнуть своей безопасностью и констатировать, что герцогиня Асси здорова. По его словам, вас будут мучить и морить голодом до тех пор, пока вы не отдадите принцу всего своего состояния... Тем лучше, для вас, милочка, если это смешит вас.

— Муцио приводит меня в восторг! — вздыхала герцогиня.

Она лежала и смеялась до удушья.

Беседу прервал приход хозяина дома. Он был очень кроток, полон укоризненной нежности, немного встревожен опасением, что большое празднество, назначенное на вечер, может неблагоприятно отозваться на здоровье герцогини. Леди Олимпия вышла из комнаты; он оперся коленом о кресло своей подруги и с грустным видом поднес к ней торжественный мрамор своего лица, как будто говоря:

— Неужели ты могла забыть, как он прекрасен!

Она бегло поцеловала его, как достойную удивления вещь, мимо которой никогда нельзя пройти равнодушно. Он сейчас же стал бурным, но она оттолкнула его.

— Ты не слышишь, что все в доме в движении? До вечера нам надо сделать невероятно много... Альфонсо! Дженнаро! Амедео!

Она отдала приказания.

— Из этой комнаты, мой друг, нам придется сейчас же уйти. Я целый месяц лежала больная, никто не смел сделать ни шагу, чтобы не потревожить меня. Ты можешь себе представить, что все здесь немного запущено.

По всему дому сновали слуги с коврами, фарфором, серебром. Альфонсо, нос которого сильно распух, стонал:

— Мы, может быть, погибнем все за работой. Но она будет сделана, ваша светлость!

— Я буду помогать, — объявил принц, внезапно воодушевляясь.

Она видела, что он покорился, не протестует против наказания и жаждет похвалы.

— Это хорошо, мой друг. Снимите ваш сюртук.

Он сделал это. Она отправилась в оранжерею, к леди Олимпии. Сквозь стекла они видели дона Саверио, бежавшего по длинным залам мимо зеркал с грудой тарелок в руках.

— Он бежит, — сказала леди Олимпия. — Он уже едва надеется нагнать уходящие миллионы. Но он бежит для того, чтобы вы видели, дорогая герцогиня, какой он великолепный скороход. Он любит вас — о! быть может, только с сегодняшнего дня: но теперь он влюблен в вас.

Герцогиня серьезно и довольно кивнула головой; она знала это.

— А если бы он еще подозревал, что ему предстоит... — сказала она почти с состраданием.

— Сегодня вечером?

— Да.

— Что же?

Она весело пожала плечами.

— Я сама еще не знаю, — потому-то я и радуюсь этому.

\* \* \*

В полночь обширный дом был полон гостей. Голоса иностранцев звучали во всех группах. И всюду, то неторопливо и небрежно, то возбужденно, в нос, то гортанными, то блеющими звуками иностранцы, беседовали о последнем приключении хозяйки дома. Неаполитанцы ждали; их жесты красноречиво выражали, что у них нет никакого мнения.

Герцогиня шла мимо карточных столов между леди Олимпией и мистером Уолькотт. Она кивала головой, обменивалась несколькими словами то с одним, то с другим и оставляла за собой ослепленные взоры. Это празднество после долгого одиночества, бывшее как бы наградой за ее силу, заставляло быстрее обращаться ее кровь, делало острым и блестящим ее ум; оно прикрепляло к ее плечам крылья и уносило ее прочь, по воздуху, в котором была уже весна, она не знала, куда. О доне Саверио она вспомнила лишь тогда, когда увидела его играющим в пикет с мистером Вильямсом из Огайо, притихшего и покорного. В эту минуту консул сказал:

— Нет сомнения, этот Тронтола плутует.

— Это неслыханно, — вскрикнула леди Олимпия.

— Дорогая миледи, — возразила герцогиня, — в таких щекотливых вещах вы пуританка: я знаю это. Но Тронтола представлял бы собой нечто неслыханное только в том случае, если бы не плутовал. Вы думаете, что Джикко-Джилетти отказывает себе в этом, или Тинтинович? В эту минуту он грабит маленького сноба из Берлина; тот очень горд тем, что далматский граф берет его деньги.

Леди Олимпия сказала с отвращением и любопытством:

— У вас однако недурные познания по этой части, дорогая герцогиня?..

— Они у меня от кавалера Муцио, моего секретаря, который вам так нравится.

— Как же эти мошенники делают это?

— О, самыми различными способами. Например: за тем, кого они обманывают, стоит их доверенное лицо и объясняет им знаками его карты. Или же он держит в руках что-нибудь блестящее, в чем отражаются карты: серебряную табакерку — или — или...

Она рассмеялась:

— Посмотрите-ка, не комичную ли фигуру представляет мой камердинер Амедео. Настоящий византийский сановник в своей глупой торжественности!..

Ее спутники взглянули по направлению, которое указывала им герцогиня. Амедео, огромный, весь в золотых галунах, стоял напротив своего господина, принца Кукуру, за мистером Вильямсом из Огайо, и вертел висевший у него сбоку большой блестящий поднос. Американец выпил стакан вина, который подал ему Амедео. Затем он громким, скрипучим голосом объявил шесть карт и четыре туза.

— Как ясно отражаются карты мистера Вилльямса в подносе верного Амедео, — сказала герцогиня. Мистер Уолькотт возразил:

— Я ничего не вижу.

— Я тоже, — заметила леди Олимпия.

— Не церемоньтесь, мистер Уолькотт. Вам неприятно видеть в моем доме подобные вещи. Но это пустяки... Вы видели это. И я прошу вас позаботиться о том, чтобы это увидели и другие.

Возбужденная, оставила она своих друзей. Она искала сэра Густона. Он прогуливался, размахивая руками, неловкий и не сознающий собственных преимуществ, вдоль благоухающего ряда полных брюнеток, разглядывавших его в лорнеты. Герцогиня заговорила с ним.

— Сэр Густон, я сказала вам, что вы понадобитесь мне сегодня вечером. Подите, пожалуйста, тотчас же к дону Саверио Кукуру — он играет в пикет с мистером Вильямсом из Огайо — и громко заявите ему, что он плутует.

Сэр Густон смотрел на нее, раскрыв рот.

— Как же он это делает?

— Это слишком сложно, я объясню вам после. Теперь идите. На все возражения повторяйте только как можно громче: «Вы сплутовали». Вас поддержат, сэр Густон, положитесь на меня...

— Как вам угодно, герцогиня.

И он пошел. Он стал перед доном Саверио и крикнул:

— Вы плутуете.

Принц с удивлением посмотрел на него.

— Вы ошибаетесь, милостивый государь.

— Я не ошибаюсь, — ревел сэр Густон. — Вы обманываете этого почтенного господина — вы мошенник!

Им овладел искренний гнев, от которого его лицо побагровело. Дон Саверио тихо, с натянутой улыбкой, заметил:

— Будьте благоразумны. Вы видите, я сдерживаюсь, чтобы избегнуть излишнего скандала. Потом я буду к вашим услугам. Но ваше утверждение — чистая бессмыслица. Ведь я проиграл, посмотрите же. Мой противник, мистер Вильяме, только что выиграл партию...

— Вы сплутовали!

Вокруг них уже образовалось кольцо молчаливых зрителей. Мистер Вильяме смотрел на себя тоже, как на незаинтересованного гостя, и с видимым интересом раскуривал сигару. Дон Саверио холодно поднялся.

— Этот господин не владеет собой, он слишком много выпил... Не угодно ли вам добровольно положить конец этой сцене? — спросил он сэра Густона.

— Уговорите его! — медленно и ласково заметил король Фили.

— Вы сплутовали!

Консул мистер Уолькотт указал лорду Темпелю на блестящий поднос камердинера. Поднялся ропот. Принц встревожился:

— Амедео!

Силач приблизился к упрямому иностранцу. В следующее мгновение оба кулака сэра Густона опустились на его лицо, и он, шатаясь, отступил. Сэр Густон напоминал своим видом сырой бифштекс. Зрителям казалось, что от него и пахнуть должно так же. Женщины говорили:

— Какой симпатичный молодой человек!

— Камердинер, может быть, действовал по собственному почину, — пробормотал лорд Темпель. Мистер Уолькотт пожал плечами, другие, перешептываясь, сделали то же. Принц не понял, его глаза злобно заблестели.

— Я не в состоянии больше относиться к этому, как к плохой шутке. Я требую удовлетворения.

Сэр Густон уже засучил рукава. Он бросился вперед; но дон Саверио ловко увернулся. Сэр Густон стукнулся о карточный стол, который опрокинулся. Мистер Вильяме из Огайо неторопливо встал и стряхнул пепел со своего рукава. Царила полная тишина; затем король Филипп медленно и ласково сказал:

— Вот так история.

Некоторые смеялись, другие выражали сомнение. А в глубине комнаты леди Олимпия высказывала мнение, что это позор, если в таком доме, как этот, происходят подобные вещи. Другие иностранцы повторяли это на наречиях, которых никто не понимал. Неаполитанцы ждали и приглядывались к выражению лица герцогини; она стояла у входа в зал. Многие начали понимать положение. Маркиз Тронтола решился первый.

— Это позор, — повторил он, — настоящий скандал. — И вполголоса: — Я позабочусь, чтобы его исключили из клуба.

Сэра Густона окружила и увлекла за собой группа земляков. Дон Саверио, очень бледный, стоял совершенно один перед толпой, враждебность которой он чувствовал. Он сделал несколько взволнованных движений рукой. Вдруг, охваченный сознанием, что все бесполезно, он свистнул сквозь зубы, повернулся и вышел из комнаты.

Все смотрели вслед ему. Со всех сторон посыпались громкие восклицания. Тронтола по-французски подробно объяснял всем, как был совершен обман. Мистер Вильяме из Огайо внимательно слушал. Вдруг он вынул сигару из угла рта и заметил:

— Ведь я выиграл.

Двадцать голосов крикнули:

— Очевидно, вы ошибаетесь!

Американец пожал плечами, Он ничего не ответил из уважения к народной воле и продолжал курить. Граф Тинтинович, воздевая кверху руки, утверждал, что такое происшествие невозможно в порядочном доме. Он еще подумает, бывать ли ему здесь. Но его строгость нашли преувеличенной. Все, наоборот, казалось, чувствовали себя очень хорошо; только некоторые, еще так недавно проявлявшие необыкновенную веселость, вдруг исчезли. Три четверти часа спустя разошлись все.

Леди Олимпия и консул пожелали герцогине спокойной ночи и отправились в свои комнаты. Герцогиня только что вошла в свою, как у двери раздался шепот:

— Ваша светлость, простите мне мою смелость.

— Муцио? Что привело вас сюда?

— Ваша светлость очень оскорбили его сиятельство, принца.

— Мне очень жаль.

— Не в том дело. Но его сиятельство, быть может, захочет отомстить. Слуги тоже очень злы на вашу светлость. Им хорошо жилось в этом доме; теперь этому конец.

— Возможно.

— При таких обстоятельствах было бы лучше, если бы ваша светлость переночевали в отеле.

— Об этом нечего и думать. Уже три часа.

— Но Альфонсо и Амедео еще не спят. Они прикладывают примочки к своим распухшим носам и глазам и шлют благословения по адресу того англичанина. Толпа лакеев и служанок стоит вокруг них и кричит. Женщины в необыкновенном волнении...

— Скажите людям, что, если их крик будет беспокоить меня, я вычту мою бессонную ночь из их жалованья. Идите, Муцио. Во всяком случае благодарю вас.

— Это был мой долг, герцогиня.

Когда Муцио ушел, она подошла со свечой к двери комнаты сэра Густона. Он тотчас же открыл; он был еще во фраке и заряжал револьверы.

— Для каморры, — сказал он, по-видимому, подготовленный ко всему.

— Очень хорошо, — ответила герцогиня. — Перейдите только ко мне в комнату, там это нужнее всего.

Он согласился и последовал за ней. Она посадила его в передней части комнаты; ее камеристка приготовила ему чай и поставила перед ним ром. Герцогиня прилегла на кровать за широкой портьерой, разделявшей комнату на две части. Она была в пеньюаре из белых кружев.

Она уже закрыла глаза, как вдруг услышала за стеной тихий шорох, точно детские шаги; больше она не могла заснуть. Сэра Густона не было слышно; она решила, что он задремал. Вдруг загремел выстрел: она тотчас же очутилась у двери. Он прострелил ее. Она, держа подсвечник в вытянутой руке, узкая и гибкая в своих длинных кружевах, всматривалась в извилистый коридор. За ней ложилась тень от спокойной фигуры сэра Густона, с револьвером в каждой руке. У стены мелькнуло что-то легкое, темное.

— Не стреляйте! — успела еще крикнуть герцогиня. Это был Муцио. Она собственноручно втащила его в комнату; он был бледен, лицо его подергивалось, он дрожал.

— Зачем вам было бродить тут, скажите, бога ради!

Он сам не знал. Ведь могло что-нибудь случиться. Слуги так злы, он знает их. Англичанин, может быть, заснул... Муцио заикался от страха. Его скептицизма как не бывало: скептицизма старого неаполитанца, которого интриги, окружавшие его со всех сторон с самой юности, приучили делать всегда только тот шаг, которого не ждали. Он лепетал, как дитя, простодушный и откровенный. Он, действительно, беспокоился за нее, герцогиня должна верить этому. Она завоевала его тем, что выказала себя сегодня ночью такой сильной. Историю с фальшивой игрой принца он желал бы придумать сам: она достойна его. Он убедительно просил ее верить в его преданность. Он сам понимает, что ему трудно верить.

— Я верю вам, — сказала она, протягивая ему руку. Это минутное искреннее чувство делало ее счастливой. Муцио должен был сесть за стол с ней и сэром Густоном и пить чай. Он с неудержимой откровенностью рассказывал всевозможные истории, о чем несколькими часами позднее, несомненно, пожалел. Сэр Густон напряженно слушал, безуспешно стараясь понять.

Затем Муцио удалился с поклонами и уверениями, бросив искоса мягко послушный взгляд на красивого молодого англичанина.

Герцогиня продолжала сидеть против своего защитника. По его просьбе она повторила все, что рассказывал Муцио. Он слушал ее с холодным любопытством, точно так же, как слушал бы какого-нибудь товарища по охоте в Индии, который видел льва. Он решил еще не раз помериться силами с каморрой. Он уже сталкивался с ней. Он как-то нанял коляску, и вдруг на козлы рядом с кучером влез какой-то другой парень, и его никак нельзя было прогнать. Это, наверно, был каморрист... Герцогини смотрела на молодого человека со спокойной и доброй улыбкой. Ее кружева поскрипывали в такт ее дыханию. В комнате было тепло, лампа бросала мягкий бледно-фиолетовый свет. Чувствовалось, что дом спит среди спящего города. За полуоткрытой портьерой виднелся, с перламутровым блеском в складках, кусок простыни на ее кровати, слегка смятой... Затем сэр Густон знал одного кельнера, который казался ему подозрительным. Он беседовал с каким-то субъектом о каждом госте.

— Вы можете курить, — сказала герцогиня. Он зажег деревянную трубку.

В семь часов она объявила:

— Теперь уж не может быть никакой опасности.

Сэр Густон встал. Он выпил довольно много рома, его лоб был красен. При прощании он впервые заметил ее улыбку и нашел, что она вдруг стала необыкновенно очаровательна. Он забыл взять руку, которую она протягивала ему; он стоял, смотрел на нее и мало-помалу сообразил, что с головой, полной всяких историй и приключений, провел полночи в спальне очень красивой женщины. Он вспомнил также все то, что слышал о ее крайне свободных нравах. Он весь покрылся потом и стыдливо пролепетал что-то.

— Не жалейте об этом, сэр Густон, — сказала герцогиня, мягко подталкивая его к двери. — Видите ли, вашей маме это было бы неприятно.

\* \* \*

Леди Олимпия и мистер Уолькотт появились в девять часов; они отлично выспались. Герцогиня позавтракала с ними; сэр Густон не показывался. Она объявила, что едет на дачу. Двадцать рук торопливо, работали над ее багажом. Экипаж стоял уже внизу, когда вошел с огромным букетом фиалок дон Саверио.

— Вы, вероятно, не ждали меня? — смиренно спросил он.

— Напротив. Войдемте туда; мы одни... Я знала, что вы придете...

— ...чтобы сказать вам, герцогиня, что я не фальшивил в игре. Я... право... не делал этого. Спросите мистера Вильямса, он выиграл. Я... не... плутовал!

— Вы слишком стараетесь. Никто не убежден в этом больше меня.

Он уронил букет.

— Но тогда... Нет, это уже слишком, такой женщины я еще никогда не видел!

Он с силой закусил губы. Они казались темно-красными, так бледен был он. Глаза его сверкали от бешенства.

— Чего заслуживает такая женщина?

«Это ничего не значит, — думала герцогиня. — Он не убьет меня. Я теперь знаю его».

— Поднимите цветы, — спокойно приказала она, глядя на него. — Так... Дайте их мне. Благодарю вас... Итак: это война, не правда ли? Разве вы поступили бы со мной иначе?

— Я могу сказать: да, — возмущенно и гордо ответил он. Она улыбнулась: как коротки были его грозные вспышки!

— Не думаю, — сказала она.

— Но ведь я люблю вас. Все, что я предпринимал против вас, делалось только для того, чтобы удержать вас, — уверял он, и сознание собственной порядочности смягчило его. — Вы же действовали так коварно только для того, чтобы избавиться от меня. Если вы хотели расстаться со мной, почему вы не сказали мне прямо своим спокойным, звучным голосом, который делал меня таким счастливым: «Мой друг, моя любовь к вам угасла...»

— Мой друг, моя любовь к вам угасла, — выразительно повторила она. Он чувствовал, что она едва сдерживает смех.

— С вами нельзя говорить серьезно, — объявил он. Он сделал несколько шагов, наморщив лоб и не чувствуя в себе мужества на новую вспышку.

— Напротив. Мы говорим вполне серьезно, — ответила она, останавливаясь перед ним. — Я ставлю вам в укор, — понимаете? — я ставлю вам в укор, что вы дали перехитрить себя. Но вы жалкий влюбленный и больше ничего. Прежде вы были сильны, иногда я восхищалась вами.

— Вы любите сильных мужчин? — спросил он с быстро вспыхнувшим тщеславием.

— Нет. Не особенно. Но в вас, несомненно, нечем было восхищаться, кроме вашей бесцеремонности. Вы нравились мне, пока вы были только алчны. Чувство погубило вас в моих глазах... Вы не понимаете? Был момент, когда я думала: «я погибла!» Я приняла вас за Пизелли, который убил бедную Бла. Потом я вспомнила, что я-то ведь не Бла. А вы дали скоро заметить мне, что вы так же мало — Пизелли. Вы алчны, но в то же время вы раб сладострастия. Это соединение не понравилось мне: я стала презирать вас... Да, вы должны были услышать это... Такие не убивают, сказала я себе... Ну, не волнуйтесь, главная вина — во мне, потому что я не Бла, склонная дать убить себя. В конце концов, это простительно, что вы не убили меня. А теперь...

Она протянула ему руку. Он опустил голову, надувшись, как ребенок, которого бранят.

— Наша война окончена, не правда ли? Теперь мы можем дать друг другу разъяснения. Вы знаете, что раздражило меня больше всего? Ваше благонравие за карточным столом. Вы чувствовали, что за вами наблюдают, вы боялись меня, вы были осторожны! Но меня смягчило бы, если бы вы играли фальшиво! О, я тем не менее порвала бы с вами; но я сделала бы это не без уважения... Почему вы не играли фальшиво? Вы делали это достаточно часто.

— Но не сегодня ночью, — упорно и обиженно повторил он.

— Я знаю, знаю. Оставим это.

— Нет, я понимаю вас, — нерешительно сказал он. — Вы хотите, чтобы для вас боролись, совершали опасные вещи...

Он оживился.

— Но ведь я собирался воспользоваться вами для величайших, отважнейших предприятий. Почему вы не дали мне действовать свободно? Что я сделал бы из вас!

— Теперь вы открываете свое сердце.

— Я хотел ваших денег? Я не хочу их больше. Если бы вы потеряли все! В моих руках вы сделались бы великой куртизанкой; вы зарабатывали бы миллионы... Да, я уже жил на счет женщин, но без настоящей выгоды. Для вас я хотел завоевать сокровища!

— С помощью того, что я зарабатывала бы?

— Я основывал бы банки, строил волшебные дворцы, открывал огромные увеселительные заведения и другие дома, которых я не хочу назвать, и которые приносят очень много...

— Я знаю, вы уже сделали первый опыт.

— И эта гора предприятий, богатства, жизни — жизни: она покоилась бы только на вашей красоте, да, только на вашем теле стояла бы она!

Она с восхищением смотрела, как его воображение опьяняло его. Он стоял у столика из черного дерева. Она стала с другой стороны и положила свою руку рядом с его рукой на темное зеркало.

— Я сделал бы из вас самую дорогую женщину, какая Когда-либо существовала! Разве это не было бы гордо, разве это не было бы величественно? — воскликнул он у самого ее лица.

— Конечно, — ответила она.

— Блеск вашего имени, вашего прошлого, вашего ума: все это было бы оценено очень высоко. Я стал бы колоссально богат, богаче, чем можно себе представить. Невероятно богат!

— Могу себе представить. А я?

— О, вы, — вам было бы хорошо. Когда вы состарились бы и не годились бы больше ни на что, я даже назначил бы вам приличную пенсию!

— Ах! — произнесла она, и ее губы раскрылись от восхищения. Вдруг он увидел, что ее рука вспорхнула с темного зеркала, точно белая голубка. В следующее мгновение ее руки обвились вокруг его шеи. Он схватил ее в объятия.

— Ты остаешься со мной! Ты не можешь поступить иначе!

— О, прекрасно могу.

Она быстро высвободилась и стала прикалывать перед зеркалом вуаль.

— Но словами о приличной пенсии ты убедил меня, что не напрасно я так старалась с тобой познакомиться.

— Так останься! Зарабатывай мне деньги!

— Ты забываешь, что я богата.

— Ах, да.

Он обеими руками схватился за голову.

— Этот Рущук! Такой мошенник! Нет человека, которого он не обманул бы; но с тобой он поступает честно. Если бы он удрал с твоим богатством! Если бы ты была бедна!

— Это прекрасная мечта.

— Но ты богата! Какая глупая случайность!

— О, — случайность. Поверь мне, мой друг: деньги — точно такое же предназначение, как и все остальное. Кому для завершения своей личности нужны деньги, тот еще никогда не был беден. Бедной герцогиню Асси нельзя представить себе. Если бы она потеряла свои деньги, тогда — она никогда не существовала бы... Ты не понимаешь? Для этого ты — ты... И этой философией, дон Саверио, вы позволите мне закончить нашу совместную жизнь, которая во всяком случае была более... деятельной, чем созерцательной.

Она кивнула ему — он не знал, насмехается ли она — и вышла. Он не сразу опомнился.

У дверей, в своей ливрее, выпятив грудь, держа шляпу у бедра, ждал Проспер, исчезнувший егерь. У него был такой вид, как будто с ним никогда не происходило ничего неожиданного и как будто он жил только в эту минуту исключительно для того, чтобы распахнуть дверь перед своей госпожой. Герцогиня прошла мимо него, чуть-чуть повернув голову и бросив старику беглый взгляд: «Я знаю...»

Консул простился у дверцы кареты. Леди Олимпия сидела рядом с приятельницей; она провожала ее до городских ворот. Последние сундуки были взвалены на второй экипаж; в эту минуту бесшумными шажками, в темном платьице и черном кружевном платке на голове, бледная, с опущенными веками, прибежала Нана, похищенная камеристка. Она бормотала извинения.

— Ничего, — объявила герцогиня. — Как тебе там понравилось?

— Ваша светлость ведь не думаете?.. Я только прислуживала дамам, бывавшим в доме, — о, дамы лучшего общества с кавалерами своего круга. Кавалеры платили за все очень дорого, хотя все было скверное, даже постели. Синьора Лилиан Кукуру приходила часто и получала страшно много денег.

Бросив искоса взгляд на своих слушательниц, Нана убедилась, что имеет у них успех.

— О синьоре графине Парадизи я могла бы порассказать историй, — пообещала она.

— Я попрошу ее самое рассказать их мне, — сказала герцогиня. — Ты можешь ехать во втором экипаже... А вы оставайтесь здесь.

Почтительная и хитрая толпа слуг в золотисто-коричневых ливреях своей живостью волновала лошадей. Служанки, коренастые и грудастые, хлопали себя по бедрам. Они показывали белые зубы на смуглых лицах, под башней черных волос. Большие блестящие кольца качались у них в ушах. Худой грум двигал желтой, как айва, кожей на голове. Некоторые непрерывно кувыркались. У всех были полные карманы денег.

Дон Саверио выбежал из дому с букетом фиалок.

— Благодарю вас, — сказала герцогиня, искренне обрадованная всем, что видела.

— Наступает весна!

Принц небрежно сказал:

— Это странно, герцогиня, но мне кажется, что я должен был бы извиниться за некоторые вещи, которые произошли между нами... Необыкновенная сторона положения бросилась мне в глаза только пять минут тому назад; вы простите. Наш брат — не правда ли, герцогиня? — даже в самые сомнительные положения приносит с собой традиции большого света.

«Как его мать принесла их с собой в пансион Доминичи», — подумала она, вежливо отвечая на его изысканный поклон.

Экипаж покатился по гладкой, твердой мостовой красивой улицы. В глубине бушевала, пела, звенела, острила, издавала зловоние и сияла неаполитанская улица. Она кричала: «Ура!».

III

Остановившийся проездом в Неаполе лагорский принц сделал ей визит. Он хотел уехать через три дня — через три года он все еще был там. Он был худощав, очень смугл и обладал истинным, простым благородством. Он никогда не смеялся, удивлялся, когда кто-нибудь пел, и даже в ее объятиях жил только созерцанием ее.

Флотилии, белые и золотые, которые он построил и снарядил для нее, влачили, свои свешивавшиеся за борт пурпурные ковры по серому, как совиные глаза, морю и мели зеленоватыми тканями море, цветом похожее на глаза сирены. С придворным штатом, состоявшим исключительно из счастливцев, ездили они к великолепным строениям, которые он воздвиг для нее на холмах, откуда был ясно виден горизонт, или за толстыми кипарисовыми решетками. Одно из этих строений, в стиле римского императорского дворца, возвышалось на Позилиппо. Другое было в мавританском стиле и поднималось на развалинах Равелло. Последнее, что он создал для нее, был сад у моря, спускавшийся амфитеатром между суровыми, мшистыми скалами, сад, полный косматых ржаво-коричневых деревьев, покрытых туманом прудов, белых храмов, серо-голубых просветов, внезапно выраставших перед глазами снопов красных цветов и глухих болот, — сад более старый, чем мир, заставлявший забывать о мире, — сад, полный невыразимой лихорадки.

Затем он простился с ней, серьезно и без упреков, потому что был совершенно разорен. Она видела, что он уходит без желаний, и только теперь она припомнила, что таким же он был и с ней. Он мудро довольствовался наслаждением момента. Он с благодарностью созерцал ее движения и прихоти каждого мгновения и стоял подле нее, скрестив руки, точно ее члены и ее крики были зрелищем, дарованным ему богом. Непрестанное зрелище, которым она была, требовало содействия многих мужчин; поэтому он никогда не выражал враждебности по отношению к другим счастливцам. Он разорился из-за нее, как разоряются из-за куртизанки, и она видела, что он очень счастлив. Вместо усеянного драгоценными камнями тюрбана и золотой парчи на нем была теперь тщательно вычищенная войлочная шляпа и черный сюртучок. И он по-прежнему держался вблизи нее, скрестив руки, совершенно удовлетворенным всем, что пережил с нею: бурей, солнцем, цветами, пламенем, пенящимися волнами — всем, чем была она. Его глаза были полны прекрасной, спокойной тени. Он был мудр. Она любила его. Она остерегалась вернуть ему его деньги: это исказило бы его образ.

Но она подарила юному Леруайе еще шестой миллион, кроме тех пяти, которые он потерял из-за нее. Он приобрел ее расположение своей беспомощностью и своим детским пессимизмом, тем, что считал невозможным быть любимым иначе, чем за свои деньги; тем, что его миллионы делали его робким, и друзьям, которые обкрадывали его, он сам помогал так стыдливо, что они И не замечали этого; тем, что очень мягко обращался с женщинами, которые заслуживали побоев, и тем, что иногда приводил с собой в богатое кафе какого-нибудь пролетария.

Герцогине доставляло удовольствие награждать юношу за его природную сердечную доброту так, что он почти не замечал этого. Ему казалось это сказкой; он не знал, плакать ли ему или смеяться — и при этом он платил ей, как самой дорогой кокотке. Когда у него ничего не осталось и он находил естественным, что ему больше никто не кланяется, она богато одарила его и женила. Он немного поплакал над потерей ее, но только вначале. К счастью, он был слишком мягкотелым маленьким эгоистом, чтобы любить.

На пятый год ее неаполитанской жизни, в конце марта, в весеннюю бурю, Жан Гиньоль навестил ее в Позилиппо. В этот день она получила письмо от Рафаэля Календера; он писал ей, что ставит сенсационную пьесу, полную любовных приключений, в героине которой легко узнать герцогиню Асси. Ему, Календеру, пришла в голову мысль, что это представление может быть неприятно герцогине. Она может помешать ему, вознаградив его за труды и произведенные расходы.

— Я собиралась ответить ему, — сказала герцогиня, — что дам ему для представления амфитеатр у залива Поццуоли, воздвигнутый принцем лагорским. Я даже буду сама участвовать в представлении. Пусть он продаст билеты подороже и оставит выручку себе.

Жан Гиньоль заметил:

— Как жаль, герцогиня, что этой пьесы совершенно не существует. Синьора Лилиан Кукуру прогнала своего импрессарио, потому что ей нужно было больше денег, чем он доставлял ей. В своем временном затруднении Календер напал на это несколько решительное средство...

— Пьесы не существует? Так напишите вы ее!

— Я — я?

Жан Гиньоль засмеялся своим коротким, придушенным смехом фавна.

— Вы сами не знаете, как недалек я от этого. С тех пор, как я впервые говорил с вами, у меня накопилось против вас многое, что мне хотелось бы высказать в пьесе.

— Против меня? Как это печально! Значит, все время вашего отсутствия вы жили в гневе против меня?

— Нет, нет. Только в сознании бессилия и нечистоты. О! Принадлежать к тем, кто всегда молчал, кто никогда не обнажал себя в произведении искусства! И в моих книгах моя душа по крайней мере охранена символами; ее не замечают. Но вам, герцогиня, я выдал ее грубыми словами — тогда, на балу. Я тогда вообразил себе, что разгадываю вас, что учусь понимать ваши отражения: какое заблуждение! Я не знаю ничего, решительно ничего о вас. И я чувствую себя обнаженным перед вами. Это сознание часто было трудно переносить...

Она увидела, что он очень бледен, и улыбнулась ему. Он просительно нагнулся к ее руке. Но она отняла ее.

— Почему? — пролепетал он. — Я оскорбил вас?

Она продолжала улыбаться, думая: «Я не скажу, что моя рука в эту минуту слишком холодна. Ты, слабый мужчина, можешь сознаться мне во всем твоем малодушии. Но я взамен не расскажу тебе ничего о странных, скрытых изменениях в моем теле, которое старится и втайне увядает. Если бы ты теперь мог положить мне руку на сердце и почувствовать, как слабо оно бьется, и знал бы, как заколотится оно в следующее мгновение, ты был бы, я думаю, отомщен! Если бы я дала тебе заметить, что я задыхаюсь! Сегодня ночью слезы будут подступать к моим глазам от головной боли, а также от тоски по мужчине... Если даже я буду лежать в судорогах, вы не узнаете этого. Вот уже четыре года это не прекращается, наоборот — все усиливается, а вы не знаете этого... Я горжусь тем, что мне приходится подчинять себе тело!»

И ее гордая воля сделала то, что сквозь ее кожу пробился здоровый румянец. Жан Гиньоль был бледен. Они сидели под шумящими дубами. Сзади, от виллы, выделявшейся на тускло-голубом, покрытом разорванными облаками небе, к ним спускалась длинная садовая стена, украшенная масками, а над ней высились стройные тополя. Плющ лежал на ней толстыми комьями, распадавшимися и спадавшими вниз. Розовый куст, на который упал луч солнца, сверкнул ядовито-зеленым пламенем; между листьями его висели большие кровавые капли.

Она повторила:

— Напишите пьесу! Скажите в ней все, что вы думаете обо мне.

— Но я ничего не думаю, я только раскаиваюсь.

— Так скажите, что вы ничего не знаете обо мне и что я мучила вас. Вы успокоитесь...

— О, дело не так уж плохо!

Он был сильно испуган.

— Мне не нужно успокаиваться. Только маленькая месть, да, она подействовала бы благотворно. Вы, конечно, не знаете, что мы художники, в сущности, всегда мстим нашими творениями всему, что наносит раны нашим чувствам, что возбуждает в нас неудовлетворенное желание: всему миру.

\* \* \*

В мае все было готово. В назначенный день после полудня свет и полусвет наполнили высокие террасы над тихим садом. Рафаэль Календер позаботился о мраморных ступенях для сиденья; он обложил платой места на мху, подушки под акациями и ложа в тени кипарисов. Платили очень дорого за право смотреть сверху из кустов мирт; и даже сзади, на равнине, откуда почти ничего не было видно, без сопротивления обогащали предпринимателя. Неаполитанское общество, то болтливое, шумное, то томное, ждало под цветами, окруженными волнующейся чащей папоротников. Измаил-Ибн-паша покачивался, сидя среди своих четырех жен, таращивших глаза. Дон Саверио, окруженный друзьями, богатый, ликующий, лежал развалившись, рядом с дивной графиней Парадизи. Прельщенный празднествами герцогини Асси король Филипп еще раз отважился на морское путешествие. Колония элегантных иностранцев, удивленная и заинтересованная, сверкала брильянтами среди благоухания мяты и колючек кактусов. В голубовато-лиловом сумраке, под цветущим тюльпаном, тяжело развалился барон Рущук.

Внизу совершенно один ходил Жан Гиньоль в наискось надетом лавровом венке и декламировал стихи, которые были слышны лишь с немногих мест. Публика удивлялась и смеялась. На нем был черный плащ, наброшенный на белую одежду, на голове у него не было ничего, волосы и борода отливали темным золотом. Он был настроен торжественно и жалобно. Он поднял с земли комок глины, несколько времени мял ее в руках, потом беспокойно и вяло уронил. Затем он повернулся к солнцу, обращая к нему свои широкие жесты и все более торжественные слова. Оно низко стояло над морем; оно послало их на его красных волнах к концу сада. Оно омыло его листья, окрасило края кипарисов, прорезало мрачно пылающим шлаком зеленый бассейн, на краю которого простирал руки поэт.

На берегу, обнимая море, стоял ряд очень старых кипарисов, а над ними, на высоком холме, сверкал храм: белый храм, куда Жан Гиньоль посылал свою тоску, между колоннами которого, подернутыми, точно раковины, розовой дымкой, его стихи, сорвавшиеся с жадных уст, блуждали, ища чего-то чудесного, ища одну, из которой были рождены, для которой жили и которой не знали. Он молился ей и за нее. Он показал ей влажную глину и сказал, что эта земля ждет каждой ее прихоти, каждой складки ее тела. Он продекламировал несколько очень циничных стихов, громко, с убеждением. К нему стали прислушиваться, разговоры смолкли, дивная графиня Парадизи вздохнула... Но вдруг Жан Гиньоль замолчал.

За завесой из кипарисов реяло что-то легкое, не то голубые покрывала, не то белые пляшущие ноги. Вдруг из-за стволов выглянул светлоглазый, весь покрытый желтыми волосами фавн. Он осторожно поставил на высокую траву свои угловатые козлиные ноги. Мимоходом сорвал розу и пошел дальше, держа ее между губами. Перед поэтом он остановился и оскалил зубы; Жан Гиньоль успел только спросить, чего он хочет и что он означает. За ним уже показался старый кентавр; он хромал, его преследовали пчелы, которых он ограбил. Он попросил Жана Гиньоль освободить его. В благодарность он указал ему свой след в глине. «Вылепи это! Ты будешь доволен!» — «Вылепи и меня!» — проблеял маленький сатир, сидевший верхом на козе. Двое других приблизились к бассейну, приплясывая, с флейтами у рта; их мягкие, глухие звуки разбудили его, он стал журчать. Голубые ирисы покачивались на стеблях. Из тростника у ручья вышла нимфа, стройная, беспечная, с покатыми плечами и упругими грудями. Она неторопливо подошла к художнику и поцеловала его прямо в губы. Это была Лилиан, его бывшая возлюбленная. В строфах, в которых был отблеск ее белой кожи, в которых распускались ее огненные волосы, он сказал ей, что она прекрасна, что это по ней он тосковал что он хочет вылепить ее образ. Он начал. Но она улыбнулась и напомнила ему, чтобы он не забывал ее сестер, а также фавнов, которые пляшут с ними, и кентавров, которые смотрят на них, и сатиров, которые играют им. Затем она понеслась по сверкающему лугу со своими длинноволосыми подругами. Они взялись за руки и, подняв их, образовали арку точно из белых цветов. Похотливые смуглые фавны проползали под ними, согнувшись и скаля зубы. Козлы терлись о них.

Сад весь наполнился топотом копыт. Старые кентавры боролись друг с другом. Молодые сатиры швырнули на землю гирлянды из винограда и пузатые меха и бросились на уста и груди нимф. Какой-то седобородый фавн учил черноволосых детей в венках из мака непристойной пляске. На земле пылали лопнувшие гранаты и рядом с розами истекали кровью голуби. В красном воздухе, неведомо откуда, лилась тихая, простая, волнующая мелодия. Сзади, на красных, блистающих волнах, стремительно бросались на спину сирены. Их чешуйчатый хвост с шумом показывался из воды, распущенные красные волосы носились по волнам. Странно резкие и пронзительные звуки вырывались из их широких ртов.

— Останьтесь! — воскликнул Жан Гиньоль. И не переставая лепить, он рисовал словами их образы, один за другим, — в пластичных стихах рисовал он образы всех этих сказочных существ и все то множество ликов, в которых открывалась ему природа. Он произносил свои стихи с гордым возбуждением, властно, победоносно... Но они удалялись, радостные и яркие носились они по траве, с поцелуями, с ребяческой болтовней, среди кипучих менад, светясь на солнце нагими телами. Гирлянда из листьев сковывала всех.

— Почему вы не берете и меня с собой?!

Розы бросали отсвет на их волосы. Среди женщин одни были девственно худые, другие похотливые, полнотелые; одни — серьезные, в темных тканях, другие — нагие и радостные. Одна тащила за собой козла, другая несла на руках лебедя. Одна нагнулась на ходу к ручью и провела по нем рукой, точно по щеке Другая высоко поднимала чашу. Третья поставила свои мягкие подошвы на дерн, закружилась, запела, потом последовала за остальными. Жан Гиньоль хотел броситься вперед. Темная листва поглотила уже почти всех. Во мраке между стволами погасали краски женщин. Последняя улыбнулась ему с опушки леса, как будто обещая никогда больше не покидать его.

Оставшийся один, художник, обезумев, бросился на нее. Она исчезла — в руках у него остался большой козел. Он протащил его до середины лужайки, схватил животное, глядевшее на него ясными желтыми глазами, за жесткую шею. Он бросил ему в лицо свою ярость, свое безумное желание, свое разочарование, свое страдание из-за одной, которая убежала от него в вакханалии всех тех фигур. Он не поймал ее, она многообразна. Она ни нимфа, ни менада, она и фавн, и бассейн, и пчела — и ты!..

И он опустился на колени перед козлом, в тоске, в отчаянии, охваченный гнетущим предчувствием.

Эту сцену нашли странной, но не лишенной очарования. Из-за кипарисов иногда выглядывало лицо с приплюснутым носом. Жан Гиньоль в бешенстве ударил топором по стволу, из него выпрыгнула окровавленная дриада и шмыгнула в чашу. За его спиной медленной, плавной походкой прошла Флора в сверкающей красной диадеме и красном одеянии. По всему саду трепетали пылающие пятна. У ели была длинная ржаво-красная борода как у козла. Ветер плакал в пиниях. Солнце, кровавым клубком свернувшееся на поверхности моря, точно собиралось вкатиться на середину лужайки, зажигало старый сказочный мир, зовя его к судорожному пробуждению, к короткому, пугающему усилию, к высокой, сильной, ужасной жизни.

Это чувствовали все; стихи Жана Гиньоль, пропитанные всеми красками солнца, вихря, любви, вливали это всем в кровь. В высоком амфитеатре царила тишина; слышен был скрип кружев под руками, кряхтенье Рущука и шепот дона Саверио над грудью дивной графини Парадизи. Чего-то ждали; ждали богиню, которую призывал поэт, — так, как будто она должна была выступить из его стихов. Она была уже здесь, частица блаженства, ее тело было уже в этих звуках, в этих криках уже чувствовался его ужас. Козел оскалил зубы и шмыгнул в чащу. Кипарисы тяжело зашумели. Жан Гиньоль оборвал. Его поэма казалась ему в этот момент чем-то непредвиденным; он забыл, кто была приближавшаяся.

Она стояла на берегу, опустив голову, и рассматривала раковину, которую держала в правой руке Левая лежала на груди. В прозрачных покрывалах серебристо выделялось тело; за ее спиной солнце погружалось в море. Вокруг ее щиколоток висели водоросли, тащившиеся за ней при каждом шаге ее длинных, гибких, дивно закругленных ног.

Она приблизилась к художнику, с раковиной у уха, безучастно улыбаясь. Он ждал, согнувшись, вяло опустив руки — в одной из них был лавровый венок — и застыл в бессилии и покорности. Она равнодушно села на край бассейна и скрестила ноги. Большие голубые ирисы тянулись вверх к ее грудям.

— Иди же сюда, — монотонно и ласково сказала она, — посмотри на эту раковину и потом поищи на моем теле места, похожие на нее. Там есть такие.

Он спросил:

— Кто ты? Откуда ты? Что ты означаешь?

Она засмеялась.

— Кто ты? — дрожа повторил он. — Плененная царевна, выброшенная на берег после кораблекрушения и гибели своего похитителя? Или ты дитя рыбака, и твои груди часто согревали береговой песок, такой же мягкий, как они? Или твои члены привыкли к прикосновениям виноградных гроздей, которые касались их, когда ты пробиралась сквозь них к своему тихому дому, с глиняным кувшином на голове?

— Возьми мои черные волосы в руки, — сказала она, тряхнула головой, и тяжелые косы упали на гонкий и крепкий затылок. — Посмотри, мои черные волосы пахнут совсем так, как черная тень между кипарисами, на которой пышно цветут розы. Эти розы расцвели одновременно с моими грудями. Коснись их губами.

— Или ты одна из тех, в тусклой улыбке которых уже виднеются слезы, — из тех, что носят серые одежды и забыли все песни; из твоих вялых пальцев выпадает плетеная корзина с последними полусгнившими плодами; из тех, что плачут рядом по любви, со сломанным, волочащимся по земле крылом?

— Я хочу плакать, — сказала она. — Прислушайся, нет ли в моем плаче бледной нимфы, капля за каплей выливающей чашу.

— Или ты одна из тех, чье носящееся в пляске тело отражается в блестящих мраморных плитах, чью пляску пронизывают пылающие взгляды мужчин, — одна из тех, что, упав на цветы, в чаду от вина и крови, задыхается в оргии?

— Ты хочешь, чтобы я плясала? Берегись, чтобы из каждого моего шага не выскочила менада и не разорвала тебя!

— Или ты...

— Остановись! Ты угадал, я куртизанка, меня берут, все имеют на это право, ты не меньше других.

— Но я хочу знать...

— Мой бедный брат с глазами мечтателя! Неужели ты не видишь, что я женщина и больше ничего? Посмотри, мои бедра извиваются, как сирены в волнах. Послушай, в моем смехе множество птичьих голосов, а в моем молчании жужжание пчел. Когда по моей коже пробегает трепет, то точно течет ручеек, точно оживает цветочный луг. Возьми бархатные мшистые клумбы моего тела вместо подушек! Пусть мои взоры, точно флейты сатиров, пробудят источники твоего желания! Освежи свои руки на выпуклостях моего тела, словно на песчаных холмах у моря! Удержи во мне нимфу, чтобы она не ускользнула опять! Поймай торопливую дриаду! Фавны и дети в венках из мака пляшут во мне свой хоровод. И старый кентавр, еще более мудрый, чем ты, смотрит во мне на все это. Но молодой предлагает мне свою лошадиную спину, и я мчусь на нем прочь, подняв руки вверх. Схвати меня: ты схватишь похотливую толстуху с нарумяненными щеками, увенчивающую чертополохом рога черного козла, и, худую девственницу, такую робкую, что она бежит от тебя в самую глубину твоих грез. Обними меня: ты обнимешь землю и море! Обними меня!»

Она говорила среди глубокой тишины. Длинные, горячие стихи переливались, и движения ее членов пели. Она оперлась локтем о его колени и подставила ему снизу свои груди. Она томно упала назад, на плоский край бассейна, в волну своих волос. Она схватила рукой свою ногу и, напрягая мускулы, поворачивала ее то туда, то сюда, точно большое, неукротимое животное. Она вынула из травы флейту и низко нагнулась над водой. Виден был ее затылок, содрогавшийся от рыданий.

Она боялась в увлечении своей игрой впасть в истерику. «Странное безумие моего тела, — думала она, — охватывает меня с удвоенной силой в этом саду, полном тайны и лихорадки. Что должно случиться? Я чувствую неукротимое беспокойство, желание невозможного».

По лужайке несся галопом кентавр, перепархивала с места на место голубка. За ветвями виднелся неясный силуэт нимфы, ее глаза безумно сверкали. Какой-то мальчик подносил к губам руки, точно зовя кого-то. Три фавна гонялись друг за другом, молча и разнузданно, пока не споткнулись и не уползли за холм, в сумрак. Все существа, которых она воплощала в себе, выпрямлялись при ее стихах и кивали ей в сумраке. Сад утратил свой блеск и стоял между черными верхушками в вечерней синеве, точно в свете вожделения, полного смертельного страха. Над морем и лугами развевались в ночном ветре голубые призрачные плащи, и из них выскакивали сказочные существа, приседали, беззвучно смеялись, вытягивали похотливые белые члены, расплывающиеся, как туман, и, загадочные и манящие, исчезали среди сильно пахнущих испарений вечера. Деревья в цвету издавали сильный аромат. Пахло древесной смолой, рогом разгоряченных копыт, потеющими шкурами лесных людей, золотистыми пучками волос на белых женских телах, пряными травами и дикими, опьяненными весной телами.

Она сама, женщина у бассейна, плыла в своих стихах, точно в медленной ладье, по горьким ароматным волнам, вверх по горе, в объятия всем, кто ждал там. Каждый чувствовал прикосновение ее нагого плеча, каждое чело опаляло ее дыхание.

\* \* \*

Глаза влюбленных искали друг друга, минуя супругов. Веера взволнованно хлопали крыльями, точно пылкие амуры. Усталые руки крались под мягкими папоротниками друг к другу, в своих красных и зеленых камнях похожие на светящихся насекомых. Вздохи, как ночные бабочки, вылетали в сумраке из цветущих кустов. Чей-то умолявший о любви голос рыдал, состязаясь с соловьем, певшим где-то в майской ночи.

— Я дам тебе все то наслаждение, которое она обещает, — сказала маркизу Тронтола Винон Кукуру. — Она только обещает. Она охотно устраивает зрелище себе и другим. Но не думай, что ее возлюбленным очень хорошо.

— Ты думаешь?

— О, что это за человек! Она уже внушила тебе желание. Но великие любовницы не таковы; они любят тайну.

Дон Саверио, опершись локтем на мох, шептал, наклонив красивое, бледное лицо к груди дивной графини Парадизи.

— Самое лучшее у нее от меня... В ней есть материал для хорошо оплачиваемой женщины. Я открыл ее. К сожалению, мое обучение было прервано.

— Продолжай его со мной! — потребовала Парадизи. — Я еще способнее.

«Она глупа», — подумал он, злобно отворачиваясь. — Единственная возлюбленная! — сказал он себе. — Единственная! Я не должен был отпускать ее; я не понимаю, как это могло случиться... Я опять добьюсь ее!

Король Фили поднес платок ко лбу. Он устало блуждал по ступеням театра, мешая парочкам.

— Все дело в том, кто сколько может выдержать, — стонал он. — Для меня это слишком много.

Он сел возле леди Олимпии. Она сделала знак лакею и предложила королю лимонаду.

— Отдохните, ваше величество, — сказала она. — Во всяком случае это забавно.

Фили рассердился:

— Ах, что там, терпеть не могу женщин.

— Такие экстравагантности нужно было бы запрещать! — воскликнул он, возмущенный, точно старый чиновник, таким попранием порядка.

Рущук успокаивающе пробормотал:

— Государь, если только мы охраняем от яда народ, — себе самим мы можем его позволить.

Леди Олимпия была того же мнения. Вдруг она заметила старого знакомого:

— Господин фон Зибелинд.

Она представила его. Заметив ее, он хотел торопливо скрыться. В нем вспыхнули вызванные видом этой женщины воспоминания о муках и позоре. Потеряв присутствие духа, обливаясь потом и дрожа, он, наконец, подал ей руку. Ее рука была спокойна и свежа. Она почти не помнила, что когда-то развлекалась с его помощью в течение двадцати четырех часов. Она предложила ему множество вопросов, на которые он отвечал заикаясь и лепеча.

«Она ничего не подозревает, — думал он, — она совершенно не подозревает кто я, и что она для меня: позор, в который я когда-то окунулся по уши, и по которому тосковал! Если бы я сказал ей, что сегодня ночью буду дрожать на своей постели от бешенства и унижения, она не поняла бы. Это и есть самое ужасное — наивность этих счастливцев! Никогда не касается ее мысль о том, что она топчет. Я ничем не могу дать ей понять себя, даже если бы я разорвал себя. Невозможно унизить и наказать ее видом страдания: у нее нет органа, чтобы видеть его!»

Король Фили все еще взывал о вмешательстве государства.

— Запретить, ваше величество! — с сокрушением сказал Зибелинд. — Ваше величество серьезно думаете, что здесь есть что запрещать?.. Прошу вас, не поймите меня неверно, значок общества охранения нравственности жжет мне сегодня вечером грудь — здесь, в этой зачумленной юдоли! Запретите это представление — хорошо. Но можете ли вы сделать, чтобы эта женщина не жила? И если можете, разве вы этим уничтожите тот факт, что этот мозг и это тело — такое бесстыдство и такое сладострастие — возможны на земле? Нет, простите, ваше величество, но запрещения ничего не изменят.

— Ну нет, — пропыхтел монарх. — Если бы все так думали, мы зашли бы далеко. Тогда нам нужно было бы совсем убраться восвояси!

Остальные следили за игрой в долине.

Герцогиня стояла теперь на краю бассейна, сдвинув ступни ног, приложив кончики пальцев к плечам, и улыбаясь. Покрывало спереди раскрылось; под упругими грудями был виден серебряный пояс. Жан Гиньоль скрестил руки. Выпрямившись, как сталь, он сказал ей, что ненавидит ее. Он ненавидит ее животную полноту, ее совершенство, он умирает от ревности ко всем сказочным силам природы, которые живут в ней, как частицы ее существа, и которыми она наслаждается попеременно.

— Могу ли я войти в тебя? Что пользы обладать тобой? Ты слишком велика, слишком пышна, я ненавижу тебя, поди прочь!

— Возьми меня! — повторила она. — Забудься со мной, до конца, до своего разрушения! Ты исчезнешь во мне и будешь счастлив... Смотри: вот твои братья!

— Они идут один за другим по бледному дерну и не смотрят на меня.

— Как прекрасен первый! Ты узнаешь его? Он так мягок и юн, его члены упоены своей сладостной наготой. Его лоб под черными прядями тонет в сумраке, большие мрачные глаза сияют из-под него в животном блаженстве.

— А за ним, прикованный к нему, шатаясь, следует второй. Над красным плащом выделяется его бледный профиль и силуэт топора. Он истекает кровью в своем красном плаще; он истекает кровью по твоему повелению... Опьяненного ты посылаешь вперед; за ним по пятам следует истекающий кровью!

— И оба достойны вожделения, — заявила она. И, скользя к нему по дерну, она начала снова хвалить ему все свои члены, точно редкие, опасные и дающие блаженство существа, которым она приглашала его довериться. Они пели, эти существа. Ее стихи переливались, а сама она, страдая от своей игры, как от судороги, как от безумия, спрашивала себя: «Я очень больна? Или я богиня?»

Леди Олимпия была очень довольна.

— Жан Гиньоль великий поэт! — сказала она.

Его супруга улыбнулась маркизу Тронтола.

— Тут нет никакого поэтического вымысла. Он просто говорит герцогине Асси то, что думает о ней. Его опьяняет смелость и бесстыдство публичности этих признаний. Это нравится мне в нем.

— Она держится хорошо; я довольна ею, — объявила леди Олимпия.

— Ей нужна публичность, чтобы наслаждаться, — возразила синьора Гиньоль.

Леди Олимпия заявила:

— Она беспечно наслаждается — и этим она обязана мне.

— Возможно. К тому же она здесь играет не больше, чем повсюду, всю свою жизнь. Ей хотелось бы теперь узнать, что чувствует тот, у кого... есть пороки.

— Принцесса, вы христианка, — заметил Зибелинд.

— Как это? — спросила Винон, искренне удивленная. Он пожал плечами и начал один из своих мучительных монологов.

— Пороки! Самое невыносимое это то, что для той женщины порока не существует. Ей недостает этого понятия. Она заранее объявляет хорошим все, что может в ней зародиться. Она верит в себя! Сколько людей уже умерло из-за нее, измельчало или сделалось предателями: Павиц, Делла Пергола, тысячи жертв ее идеалистической пропаганды, наконец, Якобус и, я думаю, скоро и этот Жан Гиньоль. Сколько страдала она сама, когда от нее ускользала какая-нибудь мечта, когда она металась в новой тоске. Я видел это в Венеции, но не испытывал никакого удовлетворения. Она призывает также страдание и принимает его охотно. Жажда свободы! Лихорадка искусства! Она еще вся была во власти второй, когда я предсказал ей ужасное третье: любовное неистовство! Но ей желанно все, что создает повышенное чувство жизни. Все для нее игра, цель которой — красивый жест и сильный трепет. Никакое опьянение не уносит ее навсегда, никакое несчастье не может сломить ее, никакое разочарование не вызовет в ней сомнения — в жизни или в собственном обаянии. До последнего издыхания она готова пробовать новое. Даже из смерти — да, даже из нее, единственной, которая могла бы отомстить за нас, своих робких поклонников, тем, кто ненавидит ее, — даже из смерти она сделает удовольствие, сцену, игру!

\* \* \*

Между тем поэт грозил и молил. Он говорил от имени своих творений; он не может отдать их в руки этих двух — упоенного и истекающего кровью. Не хочет ли она стать доброй и скромной и перестать быть любовницей всего света? Не хочет ли она сидеть на пороге его белого дома, как идол, пристойная и внимательная? Не хочет ли она у его очага нашептывать грезы, которые сделали бы великим его гений?.. Она не хотела. Она была далеко и свободна, как бы крепко ни прижималась к нему. Среди его отчаяния и неистовства она доставила ему немного утешения и надежды тем, что уронила слезу. Скоро он понял, что в этой капле было милосердия не больше, чем в тех, которыми его обрызгало бы море или небо. Она была куртизанкой неба, моря, земли. Тихий дом мужчины не вместил бы ее. Он выпустил ее: она может идти. Он смиренно указал на храм, светившийся в сумраке, наверху, на холме над морем. Она пошла; белый свет двигался рядом с ней по траве и обливал ее. Он попросил еще раз, мягко, следуя за ней. Ее голова, ее тело, ее покрывало, которое оно колебало, сказали ему серебристо-дрожащее «нет». Края больших кипарисов, в чащу которых она вошла, посеребрились. Серебряным пламенем поднималась она в глубоком мраке. Жан Гиньоль следовал за ней издали, опустив голову, с лавровым венком в руке.

На душе у него было тяжело; он искренне мечтал, наслаждался, неистовствовал и боялся что, всему этому теперь конец. Он не сознавал, что говорит нечто условленное; он сочинял свои стихи во второй раз, с вызовом или с рыданиями бросая их ей. Наверху, у храма, его роль должна была кончиться очень гордо. Там он хотел отречься от события, которым стала для него герцогиня Асси; и он хотел дать почувствовать торжествующей Венере, что ничего больше не требует от нее. Он покидает ее, он не будет больше бесплодно стараться разгадать ее душу. Быть может, у нее ее вовсе нет; или, может быть, она состоит из случайного ряда неожиданных прихотей, из тысячи игр природы и жизни, из фавнов, пчел и сирен. Никто после него не будет страдать из-за этого, и среди облаков вожделений, которые возносятся к ней и окутывают ее жертвенным дымом, она будет стоять перед своим высящимся храмом, холодная и недоступная, одинокая навсегда!.. Эти стихи должны были звучать сильно, они должны были вернуть ему все его достоинство. Теперь он забыл их и, следуя в темноте за ней, он придумал новые: бледный, вырывающийся из дрожащих уст отказ от всякой гордости, от всякой воли к духовной жизни и величию, и экстатическое, саморазрушающее подчинение плоти и ее повелительнице, которую зовут Венерой.

Он взошел на край горы и поднял голову; но тотчас же отпрянул, закрыв глаза, от ее блеска. Белый свет, резкий, нечеловеческий, превращал ее фигуру в горящий мрамор. Снизу она должна была казаться символом возвышенного стремления. Нагая и торжественная, заложив одну руку за голову, где с усеянных серебряными звездами волос сбегало покрывало, изогнув бедро, с серебряным поясом под грудью, она застыла в белом очаровании, вознесенная к безмерным торжествам.

Но Жан Гиньоль стоял в пяти шагах от нее и прикрывал рукой глаза: она ослепляла. На таком близком расстоянии ее лицо казалось каменным и жестоким, ее зрачки — призрачно синими, ушедшими далеко вглубь.

Мало-помалу он различил в темноте направо и налево от нее еще две фигуры. Одной был принц лагорский; он стоял, скрестив руки, не мигая, серьезный и совершенно удовлетворенный, так как безграничное зрелище, которым была для него эта женщина, увеличилась еще одной красивой сценой.

Вдруг другой сделал страстное движение и зашептал:

— Герцогиня, вы свели всех с ума: чего могли бы мы добиться вместе! Если бы мы вернулись в наш дворец и давали такие представления! В наш дом потекли бы миллионы! Хотите? Я повторяю вам все свои предложения, хотя я должен был бы наказать вас за то, что вы отвергли их... Кроме того, я люблю вас, вы увидите это! Хотите? Впрочем, вы должны. Ведь вы знаете меня. При посредстве вашей красоты я стану богат безмерно. Позднее вы, как я обещал, получите приличную пенсию...

Жан Гиньоль прочистил горло; он готовился заговорить из своей тени:

— Герцогиня и богиня! Неужели вы не чувствуете великой жертвы, благоухающей у ваших ног? Тысяча стихов, еще нерожденных и уже погибших, шлют к вашей главе свои маленькие убиенные души. Вы стоите в белом огне, в котором сгорает мой гений. Я смотрю на это в экстазе. Я уже не человек духа, я не хочу от вас загадок и грез; я только одно из беспомощных тел, в судорогах наслаждения испускающих дух на вашем пути. Подумайте об этом! Где проходите вы, сладострастие, там поднимает свою голову смерть! Я сам не хочу быть ничем большим, чем одним из безыменных, которые носят ее черты — на вашем пути...

Но он еще не открыл рта, как в середину белого света бросился кто-то. Мимо удовлетворенного мудреца, мимо сластолюбивого продавца женщин, мимо отказывающегося от себя поэта, пробежал четвертый, юный и не знающий сомнений:

— Иолла!

— Я только что приехал, — шептал он. — Я кончил школу — наконец. Даже не повидался с мамой, сейчас же поехал сюда. Я не знал наверно, где ты. Но я нашел тебя! Идем же!

Она смотрела на него, изумленная и счастливая. Ее тревога исчезла: это его она ждала! Он молод!

— Я раз уже видел тебя такой, — прошептал он, широко раскрыв глаза: он вспомнил Венеру, белую, как лепесток, выросшую из зеленой чащи, созданную солнцем и древесными ветвями, — Венеру, на которую он, Нино, смотрел из саргофага, за каменной маской, ликуя и рыдая. Так она еще раз явилась ему совершенно так, как тогда? И теперь он был взрослым, его грудь расширилась, мускулы окрепли. Он чувствовал себя прекрасным и сильным, чувствовал, что она принадлежит ему!

— Идем! — повторил он, набрасывая на нее свой плащ.

Она выскользнула из светового круга, сразу потемнев и из богини превратившись в женщину.

— Это хорошо, что ты здесь! Что теперь скажет весь театр!

Они рассмеялись и рука в руку побежали по боковым дорожкам вниз с горы, к морю. Он осмотрелся.

— Вот там моя лодка.

Он перенес ее по камням, в горячем мраке, волновавшемся и дрожавшем от благоуханий.

— Наконец! Я уж почти не ждал этого! Еще месяц тому назад я совсем не думал о тебе, потому что не хотел, почти совсем не думал. Потом вдруг, однажды ночью, сердце у меня заколотилось, как часто раньше, и мне сразу стало ясно, что я увижу тебя. Ведь ты обещала мне это.

— Надо только верить, Нино!

— Не правда ли? Теперь мы увиделись?

— И как еще!

Она поцеловала его в губы. Он не видел ее движения, так темно было вокруг. Он нарвал ей черный букет из цветущих водяных растений. Он положил его ей на колени. Она не видела цветов, но они сильно благоухали. Нино греб с расточительной, ликующей силой. Перед ним в бесконечности сладостной ночи было что-то неопределенно белое — лицо, светившееся обещанием:

— Иолла!

IV

Ее вилла стояла сейчас же за горой. Чтобы не столкнуться с гостями, она посоветовала ему доехать до Поццуоли. Это было недалеко, но когда они приехали, Нино задыхался; в первые десять минут он израсходовал всю свою силу; ему казалось, что запас ее не может никогда придти к концу. В местечке он исчез и вернулся с платьем для возлюбленной. Где он взял его? Это было очень таинственно; он говорил об этом шепотом. Затем они поехали в Неаполь, в густом мраке, тесно прижавшись друг к другу на скрипучей, покрытой соломой тележке. Нино повторял сотни раз: «Иолла!» Он говорил это ее шее и ее рту, ее груди, ее волосам и прерывал себя детской, полной глубокого убеждения фразой:

— Я в раю!

— Разве я уже умер? — спросил он, закрывая глаза рукой. Затем вдруг расхохотался:

— Так сказал наш директор! Мы раз ночью носили его вместе с кроватью по коридорам. Мы закутались в белые простыни и держали в руках длинные свечи. Вдруг он просыпается и, весь бледный, спрашивает: «Разве я уже умер?»

Утром, в вагоне, по дороге в Салерно, он припоминал ей каждое слово, которым они обменялись ночью; и в то же время его блестящие глаза говорили ей о ласках, которые сопровождались этими словами. Их волновал преждевременный страх, что все это может когда-нибудь стать спокойным воспоминанием. Это должно остаться бурным настоящим! Эту первую ночь они хотели бы заставить длиться всю жизнь!

— Директор не замечал решительно ничего. Когда за обедом бывал пирог с творогом — я его очень люблю — я съедал свою порцию в один миг, выбрасывал тарелку из окна — я сидел у самого окна — и кричал: «Я еще ничего не получил!» Внизу, у ручья, лежала целая груда черепков.

Они въезжали все глубже в темно-золотой юг. Листва все плотнее окружала золотые плоды, сады, все более черные, грозили разорвать свои белые стены. Они ослепляли всех. Люди прыгали от избытка крови, даже уже пожилые, с лысинами. Только здесь глаза были совершенно черны, и загнутые ресницы резко выделялись на бледных от страсти лицах.

Однажды, когда поезд остановился, к окну их вагона подошла девочка с бледным, мягким профилем, с кругами под глазами, с черными прядями волос. Толстые губы были слегка открыты, в поднятой ручке она держала два апельсина. Герцогиня со вздохом закрыла глаза. Но Нино бросил малютке денег, целую кучу.

— На, возьми все!

Раздался свисток.

— Входи в вагон, поезжай с нами! Живо, живо!

Девочка покачала головой, она смотрела вслед им широко раскрытыми глазами, печальными от слишком большого количества солнца. Дверца вагона захлопнулась, путешествие продолжалось.

— Ах! Если бы эта прелестная девочка поехала с нами! — воскликнул Нино. — Почему бы нет?.. Как это было бы чудесно! Как чудесно!

Он стоял, простирая руки, перед окном, полным морской синевы. Дома, серые, с брошенными одна на другую лоджиями и сломанными балюстрадами, на которых сидели крепкие женщины, бегали куры, сушилось тряпье, сползали вниз, над висячими садами, к морю. Увенчанные розами камни и живые существа простирали, подобно Нино, руки к сокрушающему блаженству этой морской синевы.

— Мне хочется!.. — воскликнул Нино, повернувшись на каблуках.

— Чего же?

— Я не знаю... Приключений, необыкновенных переживаний.

— Все еще?

— Ты, может быть, думаешь, что их вовсе не бывает? Послушай, что со мной случилось на днях в Милане. У Кова со мной заговаривает изящный молодой человек; он говорит, что он тоже студент. Он рассказывает об одном славном маленьком кафе, где можно провести время очень весело. Мы идем туда, уже поздно. Оно находится в какой-то узкой улочке. Мы встречаем там двух друзей моего нового знакомого, затевается игра: я выигрываю. Затем я проигрываю и ясно чувствую, что меня надувают. Последние гости уходят, я подумываю о том, как бы уйти и мне. Я говорю, что у меня нет больше денег, но они смеются. Тогда я небрежно упоминаю о том, что всегда ношу в кармане заряженными два револьвера. Игра сейчас же прерывается.

— Браво! У тебя, конечно, не было ни одного револьвера.

— Нет, один был, но без патронов. Я их расстрелял.

— Ах!

— Ездя на велосипеде, знаешь, по шоссейным дорогам. Когда какая-нибудь собака меня преследует, я стреляю. Ах, я хотел бы, чтобы кто-нибудь начал со мной ссору!

— Если бы в окно вдруг вскочил замаскированный разбойник!.. Смотри, теперь ты сам пират, увозящий принцессу. Помнишь?

— О, Иолла, я помню все — и то, что я всегда только ждал, ждал, чтобы началась жизнь. И теперь она началась! Летом, на пути к тебе! Это было божественно. Беззаботно, в легком полотняном костюме бродить по жаре. На велосипеде из города в город! Все сады у дороги мои, все, что отражается в прудах и все, что проносится по небу. Виноград вырос для меня, девушки улыбаются мне своей милой улыбкой. Я ем в первом попавшемся месте, не забочусь ни о каком порядке. Как, по-твоему, я начинаю день? С папиросы и порции мороженого. А вечер провожу в кафе на асфальте, где за столами сидят накрашенные женщины. Душно, пахнет духами, названий которых я не знаю, еще другими вещами, даже немножко клоакой, и это не вызывает во мне никакого отвращения... Руки от жары все точно напудрены и движутся так медленно, и жилки видны на них. Это чудесно... Иолла!

Он бросился к ее ногам и прильнул головой к ее коленям. Она чувствовала, что он опьянен голодом юности, с горящими глазами бросающейся в первые празднества. Она была жизнью, всей жизнью, которую он хватал своими дрожащими руками. Она дрожала сама, юная, и жадная, как он.

\* \* \*

Над Салерно в прозрачном воздухе выделялись ясные и твердые очертания замка. Белые дома улыбались у горы, прячась в большие букеты лимонной листвы. Внизу, у извилистого берега, в ярко-белую мостовую врезывались тенистые массы аллеи. Из темноты улочек, поглядывая на солнце своими зелеными ставнями, выплывали ярко-белые фасады набережной. Затейливые башни карабкались к свету, плоские куполы дремали в нем. Он с головокружительной быстротой носился по небу и морю. На пылающей синеве неба и моря, омытый ею, простирал свои ослепительные крылья гигантский лебедь — город.

И везде на пути к Амальфи, вдоль всей горной дороги, вместе с плодами, в гнездах из лимонной листвы прятались города.

— Смотри, Иолла, нам стоит протянуть руку, чтобы достать плоды над нашими головами и лимон у наших ног. Город весь виден нам, точно маленькая старая игрушка. Она заведена. На площади за деньги производятся всевозможные движения. Колодезя не видно из-за жестикулирующих женщин, собравшихся вокруг него.

— Но теперь мы выйдем из экипажа, Нино, ведь ты не хочешь, чтобы мы проехали мимо этого! Смотри туда: две стены лимонов и отверстие, ведущее вниз, к морю!

Плечо к плечу, под ветвями плодов, они наклонились над бездной, сиявшей в волшебном свете. Бухта, маленькая и белая, вся пронизанная солнцем, играла у берега, как легкий воздух; по ней носились суда. Над окаймленным голубой полосой берегом высилась в застарелом властолюбии круглая башня.

Они спустились вниз, в один из двух городков, дома которых, залитые дрожащим светом, казалось, прыгали по горе в зеленых складках земли, среди плодовых садов и тихо журчащих ручьев. День был душный и серый; собиралась гроза. Они вышли из гостиницы, чтобы выкупаться. Они прошли по покрытому тонким песком берегу, на котором жарко пахли смолой опрокинутые лодки, и, обессиленные нависшей в воздухе грозой, упали на камни за старой башней. Они сбросили с себя платье. Поток тяжелого солнца вдруг брызнул из туч на масличные деревья у откоса. Они тотчас же открыли свои серебряные глаза и снова закрыли их. Нино и его возлюбленная поднялись; над ними шумели два больших кипариса. В их крови бушевал такой же тяжелый вихрь. Они смотрели друг на друга, и их глаза, то темнели, то вспыхивали, как небо. И в то мгновение, когда они бросились в объятия друг другу, разразилась гроза.

Грудь с грудью бросились они в бронзовые волны. В каждой из них замирал один из их вздохов. Каждый тяжелый порыв ветра хлестал одно из их объятий. Их светлые тела трепетали на гребнях черных волн, вместе с пеной. Когда они снова вышли на берег, с них струилась морская пена, и они еще задыхались от наслаждения, достигшего своей вершины. Точно водоросли, длинные и мокрые, ударялись темные волосы герцогини о тело ее возлюбленного. Их лбы были покрыты красными цветами, налетевшими в вихре, они не знал» откуда. Другие, такие же красные, зацепились за волосы. И все небо изгибалось в красном пламени.

Вдруг из расступившихся туч теплой пеленой хлынула вода. Они растянулись под акациями и, когда дождь прошел, подставили лица сладкому, дымящемуся аромату. Гром заглушал все чувства; одурманенные благоуханием мысли спали глубоко в лоне непогоды. Нино закрыл глаза; ему казалось, что он снова превратился в ребенка. Его робкие руки потянулись к возлюбленной и не нашли ее. Он вскочил; она стояла перед ним, в волне, спадавшей с ее плеч, как переливающийся зеленый плащ, — стояла сверкающая, покрытая струйками воды, с простертыми руками, с грудью, подставленной ветру, с челом, озаренным пробивающимся солнцем, — стояла со своими длинными, сильными ногами и бедрами, изгибающимися, как сирены. Он преклонил колени и поднял к ней руки — это была богиня, вышедшая из морской пены.

\* \* \*

Наконец, они пошли домой и на узкой террасе своего домика сидели веселые и тихие, под гирляндами из листьев, за плодами и вином, и слушали болтовню мирно улыбающихся людей. На их тарелках были нарисованы едущие в тележке кузнечики. На стене красовалась вакханка в развевающемся покрывале, ударяющая в цимбалы. Тихий вечер обливал террасу своим розовым сиянием. Они перегнулись через перила; Нино скользнул рукой по руке подруги, словно прося прощения. Он прошептал:

— Я делаю вид, будто все это так и следует. Но ты не должна думать, Иолла, что я не вижу, как безмерно ты прекрасна. Я знаю это, поверь мне, — но что пользы углубляться в это?

— В мою красоту?

— В твою красоту и в красоту земли... В прошлом году я хотел стать художником, потому что пиратов теперь не бывает. Я слишком много учился истории, и знаю, что такая жизнь, как у моего великого друга Сан-Бакко, — ах, она уже не возможна. Теперь совсем не живут. Все мы опустились, мы пресыщены и извращены, — и все это из вторых рук. Видишь себя всегда в зеркале. Произносишь слишком много нелепых изречений, я знаю это отлично — гордишься даже тем, что так болен.

— Так болен?

Она была испугана. Она спросила:

— А как здоровье твоей мамы?

— О, превосходно.

Она молчала; она знала, что Джина заперлась в своем поместье у Анконы, чтобы сын не видел ее умирания.

— Ближайший период моей жизни, — вслух мечтал Нино, — я хотел бы провести в Париже, — или же я буду изучать американскую свободу для наших преобразовательных целей.

— Но ведь ты хотел стать художником!

— В прошлом году — да. Но на каникулах мы отправились всем классом во Флоренцию. Я увидел галерею Уффици! Иолла, сердце у меня переполнилось скорбью. Я раз навсегда решил никогда, никогда не рисовать. Нигде больше нечего делать, все уже сделано.

— Странно, мне казалось то же самое еще в детстве, в моем уединенном саду. За его пределами хозяйничали турки; и Асси больше не было. Тем не менее я жила...

— Посмотри на башню, Иолла, она лежит уже в тени: ты ведь знаешь, ее выстроили твои предки! Ах! Они были еще пиратами! Такими башнями они охраняли свой завоеванный берег. Они следили за морем; их паруса молнией мчались за иностранным купеческим судном.

— Они прибыли сюда, как мы, Нино. Им тоже хотелось посадить на свою лошадь девочек, предлагавших им апельсины. Им тоже принадлежал мягкий воздух и бурный вихрь.

— Я учил это, Иолла. Сначала это были только сорок нормандских пилигримов; возвращаясь из Иерусалима, они освободили Салерно от турецкого флота. Потом они стали дружинниками князя Гваимара, — а у его наследника они отняли страну. Как его звали?..

— Вероятно, они были убеждены, что никому не изменяют. Они были так умны и сильны.

— Однажды они попросили Гваимара дать им графа. Он предоставил им выбрать его; они выбрали юношу, который был очень красив, очень благороден и почти хрупок. Это непонятно.

— Как его звали?

— Асклитино.

— Посмотри на замок, Нино. По ту сторону залива, на горе. Все уже так темно, только замок Салерно выделяется своими ясными и сильными очертаниями на побледневшем небе... Мне так и кажется, что там наверху Асклитино в тонком панцире из серебра, с венком из масличных ветвей на голове, преклоняет колено перед своим сюзереном.

— Да. И Гваимар дает ему в руки золотое знамя... Но у Асклитино внизу, в городе, была возлюбленная, из той темной, слабой расы, которая так сильно ненавидела его и его северных богатырей. В длинных стенах замка была дверца, за ней они целовались.

— Как темно стало, Нино! Посмотри на меня — поближе.

— И она отравила его. Она не могла иначе; ее родные потребовали этого.

— Как же она дала ему яд?

— Говорят — я не понимаю этого — в поцелуе.

— Нино!

— Иолла!

Они в испуге отшатнулись друг от друга: их губы встретились во мраке. Они молчали; под ними призрачно пылало море. Затем Нино закрыл глаза и с трепетом сказал:

— Я хотел бы Иолла, чтобы ты сделала это.

\* \* \*

Ночью об их тесную комнату, точно о борт корабля, ударялись легкие волны. Они спали, обнявшись, как дети. Ясное утро встретило их на берегу, беззаботное, почти непомнящее бурного Вчера. Залив покоился, голубовато-белый. Более яркая синева поблескивала за маленькой косой. На ней сидели на корточках прачки, точно карлицы на плавающем розовом листе. Рыбаки, снимавшие вдали с мели лодку, мужчина между двумя корзинами на осле и сопровождавшая его женщина с белым тюком на голове — все казались чисто сделанными миниатюрами, которые можно было достать рукой. Светлый, прозрачный воздух воспроизводил ясный образ всех вещей.

По ломким ступеням и узким тропинкам герцогиня и Нино взобрались, держась за руки, на гору. Масличные деревья кивали головами и улыбались. Вдали их легкая листва смыкалась в серебряные палатки; в них виднелись розовые цветы. Герцогиня опустилась на землю у ручья, журчавшего на лугу, между коврами нарциссов и маргариток. Нино смотрел, как она плела венок; потом она научила и его, и они украсили друг друга. Он стоял, глубоко дыша, в круглой тени пинии, звеневшей на ветру. Герцогиня лежала на солнце, положив голову на руку, и, глядя вниз на блестящую, как олово, поверхность моря, прислушивалась к старой таинственной мелодии, доносившейся из знакомого ей сада у моря. Там играла девочка; за руку с стройным товарищем бегала она по склону за ягнятами и, словно пчела, целовала все цветы, — пока не наступал вечер, темнела зелень папоротников, и следы светлого товарища расплывались на дорожках, у павильона Пьерлуиджи, откуда звенел сдержанный смех.

Она счастливо улыбнулась. В самом деле, кто-то засмеялся — она едва сознавала, что это был Нино. Он играл на своих пальцах, как на флейте, подражая пению пинии. Вдруг он, не переставая играть, нагнулся к своей подруге и поднял ее бледное, освещенное солнцем лицо с дерна, точно срывая сказочный цветок или вынимая из рыхлой земли живой плод. Они посмотрели друг другу в глазах. Вокруг них сверкал ясный полдень.

\* \* \*

— Уж если мы не счастливы! — воскликнул Нино, стоя на мосту. Над ручьем тяжелым сводом высилась листва. В ней прятались лимоны, видны были только их светлые отражения в воде.

— Я счастлива — просто сказала герцогиня.

Он объявил:

— Я счастлив, потому что счастлива ты.

— Ах! И только?

— Я люблю тебя, это ведь само собой разумеется, Иолла? Я люблю тебя!.. Ты помнишь, как я тогда должен был покинуть тебя? Я был уже почти в долине; ты стояла наверху на кивающих ветвях, почти в воздухе, похожая на белое пламя. А теперь ты идешь рядом со мной, и я могу коснуться рукой серебряной вышивки на затылке под черным узлом твоих волос. Это чудо! Когда я ехал сюда, я не сомневался в том, что это будет, — а теперь я не понимаю этого... Я люблю тебя! Я люблю тебя! Но...

— Но?

— Но это стоило бы немногого, если бы я не сделал тебя счастливой! Держать человека, женщину — вот так, чувствовать под руками все ее тело и знать, что она хочет переживать вместе со мной мои грезы и принять в себя частицу моей крови... Прости, я очень эгоистичен!

— Я хочу тебя таким! Я люблю тебя!

— Было бы благороднее любить и ничего не хотеть взамен. Главное, это было бы сильнее! Но что делать, мы не сильны. Быть любимым в нынешнее время для мужчины самое желанное. У нас усталость в крови... Прежде я не мог даже представить себе, как прекрасно это будет. Я уже так много сил растратил с женщинами, которые не способны больше любить.

— Что за признания, Нино! Ты хочешь испытать меня? Ты просто пришел и взял меня, не раздумывая много, потому что я обещала тебе себя. За это-то я и люблю тебя. Не вбивай себе ничего в голову!

Он засмеялся детским смехом.

— Ты права, Иолла. Это опять были глупые изречения.

— И заметь себе: я счастлив, потому что ты мой, — и ничего больше не хочу от тебя. Я люблю тебя; я достаточно сильна для этого!

— О! Ты и меня делаешь сильным!.. Я стал красив, Иолла?

— Очень красив!

— Видишь ли — потому, что я хотел стать, как ты. И силен я тоже. И я хотел бы сделать других такими счастливыми — многих, многих других — такими счастливыми, как мы.

— Сделай это!

— Я начал бы, например, с той бедной женщины, о которой ты мне рассказывала, и которую я видел во время представления в саду в роли нимфы, в ту ночь, когда пришел за тобой. Как она была бела и печальна, эта прекрасная женщина! Ее зовут Лилиан, не правда ли?

— Да. Что ты хотел бы сделать для нее?

— Она должна быть очень несчастна, очень одинока.

— Но она гордится этим!

— О, жалкая гордость! Если бы она хоть раз вечером, прислонилась головой к моему плечу! Я взял бы ее руки и освежил бы их, я до тех пор целовал бы ее измученный лоб, ее бедные глаза, пока она смогла бы заплакать... О чем ты думаешь, Иолла? Ты не сердишься, что я хотел бы спасти другую женщину?

Она не ответила. Она притянула его в свои объятия; они опустились на камень у дороги, над зеленой долиной. Это был затерянный уголок; у его выхода колебалось море.

— Не только эту женщину, Иолла, — тысячи угнетенных рабов хотим мы освободить, мы, молодые. Ты слышала о нашем движении? Конечно, нет; они замалчивают нас. Это не поможет им. Мы решили отдать свою жизнь свободе и праву личности и призываем к борьбе против социализма, насилующего ее. Нас уже двадцать тысяч во всей Италии, Иолла, — все молодежь! Мы издаем газеты и захватываем власть в маленьких городах. В Сало один из учителей был заодно с нами. Мы уверили директора, что хотим пойти к женщинам, в Брешии: он отпустил нас. И мы выступали на площадях, на опрокинутой телеге, и говорили крестьянам и ремесленникам, что жалкая, тесная, далекая от всякой красоты тюрьма социализма должна снова раскрыться. Каждый должен есть свой хлеб и свою соль, а государства это не должно касаться... Быть свободным...

— Значит, быть прекрасным, Нино! Я знаю теперь, как ты сделался таким. Если бы Сан-Бакко дожил до этого!

— Да! Это пробуждение. Мы — современные гарибальдийцы! Только мы знаем, что значит брать приступом и слышать вокруг себя ликующие крики.

— Потому что вы молоды!

— Пока существует государство, оно будет пытаться поработить нас. Мы не хотим его. Свободный народ повинуется себе самому. Законы — я не знаю, необходимы ли они, но они достойны презрения.

Герцогиня изумленно слушала как он повторял ее собственные слова. «Когда я говорила это? О, мне кажется, что лишь вчера».

— Король должен быть для того, чтобы охранять свободу, — заявил Нино.

— Ты анархист! — сказала она и улыбнулась при воспоминании, что и ее называли так.

— Я не боюсь слов! — воскликнул он, вскакивая. И на ходу, размахивая руками, раскрасневшись, со спутавшимися локонами и глубоким трепетом в голосе, он продолжал говорить о своих мечтах.

Она спрашивала себя, восхищенная:

— Что моложе, его энтузиазм или моменты уныния?

Но она думала так же:

— Вся эта молодость — точно большая чайка, сверкающая и дрожащая. Мы сидим на ней; она несет нас, в объятиях друг друга, над морем, зигзагами и без цели. Вдруг бедная птица устает, падает вниз, волны отрывают нас друг от друга: мы спасаемся, если можем, и каждый плывет туда, куда его уносят волны... Только крепкий воздух нашего опьянения делает его сильным, а меня молодой. Что я в действительности была его Венерой, тому уж много времени: это было тогда, когда Якобус хотел написать ее, прежде чем я позволила ему любить себя. Я думаю, Нино еще видит меня такой, какой я была тогда, в парке, когда он читал мне стихи Франчески, а с верхушек кипарисов взлетали голуби. С тех пор я жила... Он сам — ах, в его стройном, гибком, из упорства ставшим прекрасным теле неслышно работает разрушитель. Обреченная на гибель кровь его больной матери струится и в нем, она нашептывает ему сомнения и усталость, и он сам не знает, как они забрались в его легкую юность... О, если бы он никогда не узнал этого! Если бы он вдруг упал — с нашей чайкой — глубоко в море, после этого прекрасного часа! Только в это мгновение он прекрасен: мы прекрасны только одно мгновение. И его мгновение принадлежит мне! Быть может, я закрою глаза под дуновением последнего поцелуя, который возьму с его губ.

\* \* \*

— Зачем? — спрашивал Нино. — Зачем нам уходить в горы?

— Я сама не знаю, — объяснила она. — Тебе не кажется, что мы сидим, как две прачки, на розовом листе у воды? Каждое дуновение может унести нас, это опасно.

— Я не нахожу.

— Ты еще не знаешь: кто так счастлив, как мы, должен прятаться...

После полудня они поднялись над белыми лоджиями Аграни и между черными массами скал проникли в зеленую, молчаливую котловину. Наверху, у края горы, в холодном спокойствии высились куполы и башни. Сойдя с проезжей дороги и углубившись в засеянные террасы, они стали подниматься между виноградом и каштанами, вдоль рокочущего ручья, по искрошившимся серым ступенькам, терявшимся во влажной зелени.

— Куда мы идем, Иолла?

В ней все ликовало: «Туда, где я навсегда буду спасена от своего тела и его возраста, где я буду легка и молода, как ты!..» — Она сказала:

— Представь себе, что в конце концов мы попадем в большой город с собором, дворцами, общественными банями, садами, с сарацинским гарнизоном, с патрициями, носилками, шелковыми шлейфами, неграми-рабами, изумрудными верхушками деревьев — в утопающий в зелени большой город на горном хребте. Только эта забытая тропинка ведет к нему!

— А вот показалась и церковь! — вполголоса полуиспуганно воскликнул Нино. — Какой странный, весь в округлостях профиль! Из черного портала, словно белые свечи, одна за другой выходят женщины, странные на вид.

— Ты начинаешь узнавать. Сейчас будут другие развалины.

— Как, развалины?.. Вот мавританская стража. Нас встречают.

Несколько смуглых парней протягивали руки.

— Теперь они принесут нам подарки от правителей республики... О, что за грациозные фигуры — эти закутанные в покрывало восточные женщины у колодца! Львицы с человеческими лицами выплевывают воду в их медные ведра.

Неуклюжие женщины, босоногие, в высоко подоткнутых вылинявших юбках, просили денег.

— А дворцы! — восклицал Нино, весь уйдя в свои образы. Они вступали на черную площадь.

— Вот они, дворцы синьоров со своими фризами, полными тайного смысла, со своими порталами из каменных цветов, расцветших на сказочной земле. Между окнами поднимаются стройные колонны, а между мечтательными листьями капителей горят большие, темные женские глаза.

— У нас есть свой дом, Нино, — сказала герцогиня, сворачивая в узкую улицу. На повороте выступил угол ветхого фасада. Над угловой капеллой колебался красный огонек. Они оставили позади портал; на пороге сидели каменные существа без имени — и вдруг они очутились в лесу, полном колонн и роз. Герцогиня взглянула на Нино: его видения стали камнем и цветком, но он не заметил разницы.

Они безмолвно шли по грезе этого дворца, восставшего из земли по повелению принца лагорского. Они увидели бани и дворы; на сводах из черного туфа расцветали большие мраморные розы. Маленькие белые колонны парили в высоте, вдоль открытых галерей. Под аркой из жестких черных листьев темнела цистерна. На пустых мозаичных полах гулко отдавались шаги, а за темными дверцами чудился шорох и трепет покрывал на нетерпеливых телах.

Между выбеленными колоннами, под навесом из виноградных лоз, глубоко внизу, они увидели море, распростертое под блестящими голубыми покрывалами, точно большая, ленивая, дающая блаженство богиня. Берега были ее светлыми руками, а волосы свои она пышной волной разбросала по горе. Сад, в который вошли Нино и его возлюбленная, показался им этими волосами богини. Они извивались тысячью усиков и набухали в тысячи ягод винограда, они сбивались в массы цветов, от них исходили дивные, ароматы, они искрились всевозможными красками. Растения затопили вошедших. Кусты поднимались выше, цветы заглядывали в глаза. Они шли среди олеандров, точно по ручью крови, и на их щеки падало кровавое отражение. Желтые и белые манксианы хватали пришельцев своими тонкими усиками и не хотели выпустить. Мандарины напечатлевали на их губах горькие красные поцелуи и манила любопытных в свой хаос крошечных листьев и тонких ветвей. Они нагибались, чтобы пройти под толстыми, круглыми розовыми кустами, полными жгучих засад, они боролись с ползучими растениями, исчезали в плюще у подножия неумолимых кедров и подставляли плечи под тень пальм, точно под струи молчаливых фонтанов.

Неудержимое изобилие ошеломляло. Среди всех этих соков и растительной силы они чувствовали себя родственными слабой ящерице, пробиравшейся по узким дорожкам и заглохшим ступенькам. Им хотелось, как птице, укрыться в мягкое гнездо, свитое в изгороди. Когда они, наконец, очутились на краю сада и зарево горизонта облило их, они с удивлением посмотрели друг на друга.

— Как можно здесь говорить, Нино? Что значит здесь человеческий голос?

Он был разгорячен, он чувствовал томление и робость.

— Я знаю это теперь, Иолла.

— Что? Что мы хорошо делаем, что прячемся, правда?.. Здесь у счастья, Нино, нет голоса. Сад погребает его навсегда, оно вечно прислушивается к призрачным шорохам за своей спиной, к дребезжанью мандолины в этом углу и к крику о помощи в другом, к свисту мавританских сабель, натачиваемых о квадратные камни, к плеску юношеских членов в ванне и ко вздоху спящей женщины. Оно вечно прислушивается к умолкшим уже шестьсот лет шорохам города, который больше не существует.

— Вечно, — повторил Нино.

\* \* \*

Весна была жаркая. Нино уходил гулять один. Возвращаясь, он находил герцогиню у фонтана, во дворе роз, в шелковом гамаке — и он говорил:

— Я знал, что ты будешь лежать здесь. Я проходил мимо красно-зеленого киоска; в нем лежала дама, покачиваясь в гамаке, как ты, и ее отражение скользило, как твое, по мозаичному полу. Евнухи зевали, показывая белые зубы. В воздухе сильно благоухало. Дама пролепетала, что это благоухания ее подушек и что они вызывают любовь: она звала меня к себе. Но я думал о тебе, Иолла, — мне не нужны никакие возбуждающие ароматы, чтобы любить тебя.

Или он видел начальника города, ехавшего верхом позади гайдуков с черными лбами и сверкающими шлемами. У старика был золотой колчан, на его тюрбане сверкали красные камни, а на чепраке его коня — желтые... Или он утверждал, что привел с собой испанских танцовщиц. Они танцевали. Легким фанданго были прихоти любящих; вышитыми складками испанских платьев были сотни пестрых, прелестных сплетений, в которых колыхались их нежные дни и блаженные ночи.

— Утро будет душное, Нино, я чувствую это.

Но он выскользнул из ее рук.

— Я надену свое самое тяжелое платье — жара или холод, что мне до этого!

— Ты чувствуешь себя таким сильным?

— Меня ничто не свалит. Я держу свое счастье в руках так спокойно, так... ах, Иолла! Я хотел бы, чтобы судьба придумала что-нибудь необыкновенное: тогда я мог бы показать ей, как это напрасно!

В девять часов он пришел домой, весь в красных пятнах, отрицая перед самим собой свое утомление. Герцогиня сидела у баллюстрады над морем, небо было пасмурно.

— Я был в Скале, — сообщил Нино. — Там уже прошел маленький дождь, водопад совсем исчез в мокрой зелени. За ним, скрытые виноградом, мне слышались непонятное бормотанье и шум этого города, а среди всего этого, точно на золотой стене мавританской апсиды, мне виделась ты, Иолла, вечно ты!.. При этом случае, так как долина была так мокра, я узнал, что, собственно, она вместе с городом уже давно залита морем. Но мы, Иолла, мы оба заставили одного из духов Соломона сделать так, чтобы вода стекла обратно, и затопленный город снова вышел на поверхность. Мы будем счастливы до тех пор, пока будем забыты: по крайней мере сто лет. Если духи когда-нибудь снова пролетят мимо и вспомнят о нас...

— Смотри, Нино, какая пыль на дороге у Минори. Это коляска...

— Тогда они нашлют на нас море, и внезапно все будет кончено...

— Но мы не перестанем быть счастливыми... Поди, Нино, переоденься.

В полдень он вышел из своей светлой комнаты с балконом в прохладную, тенистую столовую. Противоположная дверь была открыта, дул сквозной ветер. Нино быстро опустил бисерную портьеру, закрывавшую вход. Она колебалась и звенела, а Нино, окаменев, слушал жирный, вялый голос, звучавший в полутьме. Ему показалось, что это один из духов Соломона. Она вежливо ответила что-то. Затем зазвучал гибкий голос, металлический и в то же время мягкий, вызвавший в Нино восхищение и сделавший его более несчастным, чем первый.

Его возлюбленная позвала его, она взяла его за руку и сказала:

— Нино, это мои друзья, барон Рущук и дон Саверио Кукуру.

Первого Нино мысленно тотчас же нарядил в зеленый кафтан и сделал вороватым дворецким. Но другой был настоящий принц, и ему недоставало только белого жеребца.

Гости разговаривали за столом так, как будто были здесь уже целые недели. Нино не мог надивиться, как просто все было. Отдохнув после обеда, все вместе пошли по тропинке к берегу. Герцогиня шла впереди с Рущуком. Дон Саверио сказал Нино:

— Вы очень счастливы, что герцогиня вас любит?

— Да, — ответил Нино, краснея.

— Это большое отличие. Многие выдающиеся мужчины жаждут этого.

— В самом деле? — машинально сказал Нино. Он думал о том, что дон Саверио самый красивый мужчина, какого он когда-либо встречал. «Иолла не может не замечать этого... Но было бы низко завидовать ему. Я не хочу! Я хочу быть его другом!»

— И в особенности, — продолжал дон Саверио, — так как наша герцогиня очень избалована своими прежними любовниками. Один старался превзойти другого. Принц лагорский был богаче и... способнее, чем маленький Леруайе. Затем Темпель, Тронтола и все остальные. Какими преимуществами должны обладать вы, мой милый, вы, который приходите после всех них!

— Но... — пролепетал Нино, — вы ведь не хотите сказать, что герцогиня любила их всех?

Он только боялся, точно в гнетущем кошмаре, что принц мог сказать это. Дон Саверио мягко засмеялся:

— Я не думал, что сообщаю вам новость. Вы имеете право гордиться, мой милый; но подумайте, было ли вам это так легко...

— Ведь я старый друг Иоллы!

— Я тоже. Она прожила в моем доме целую зиму. Она была, смею сказать, очень довольна мной.

— Не сомневаюсь, не сомневаюсь, — воскликнул Нино, смеясь и стуча зубами. Он смотрел высоко в воздух, бессознательно боясь глядеть на землю, где, может быть, лежал низвергнутый образ его возлюбленной. И только одно он ясно говорил себе: этот человек решился поносить ее — он, такой красавец! Он осквернял свой собственный благородный образ. Нино чуть не кричал от муки, принужденный восхищаться этой божественной формой, от которой исходило низкое. Он остановился, он должен был попробовать заставить своего спутника опомниться и он спросил с подергивающимся лицом:

— Не правда ли, вы не хотели сказать ничего дурного об Иолле?

— Как это, дурного? Она настоящая женщина, тут порицать нечего. Я хотел бы только уберечь вас от разочарования, потому что вы нравитесь мне. Поэтому я предостерегаю вас: не верьте идеалистическим глупостям, которые старается возбудить в нас каждая женщина. Ее цель — ввести нас в заблуждение относительно того, что у нее все сводится только к одному — к тому, что вы, конечно, знаете...

— Я не знаю решительно ничего, — воскликнул Нино, почти плача и трясясь. Дон Саверио добродушно пояснил:

— Потребности, конечно, все увеличиваются. Наша герцогиня не остановится на этом.

Нино застонал. Вдруг он схватил своего спутника за грудь. Дон Саверио напрасно старался стряхнуть его. Несколько секунд они, прерывисто дыша, смотрели друг другу в лицо. Это было у одной из мельниц: влажная листва смыкалась вокруг них, и ручей шумел. Герцогиня и Рущук исчезли, их голоса замолкли в глубине. Дон Саверио улыбнулся, жевательный мускул на его лице слегка исказился, придав рту жестокое выражение. Он обхватил узкие кисти своего противника и стал ломать их. Нино корчился, но должен был выпустить противника. Дон Саверио объявил:

— Я вовсе не хочу быть вашим врагом, это совсем не в моих интересах.

Он рыцарски поклонился.

— Я пройду вперед: я уверен, что вы не нападете на меня сзади.

И Нино, опустив голову, последовал за ним.

— Мы придем еще до дождя, — заметил дон Саверио на берегу, где они присоединились к герцогине и ее спутнику.

— Но наша прогулка была необдумана. Нам придется переночевать внизу.

— Ничего не значит, — решила герцогиня, поспешно направляясь к Минори. — Мы опять увидим наш маленький дом, Нино!

Нино не ответил. Когда остальные вошли в ресторан у моря, они заметили, что Нино нет с ними.

Он быстро шел по берегу. Дождь хлестал его. У ног Нино вздымались волны. Он выбрал среди многих знакомых утесов самый высокий. К утесу от берега вела узкая полоска земли, с другой стороны он отвесно спускался в море. Нино стоял на его косой вершине и, как когда-то в пылу детского безграничного гнева и бурной жажды справедливости, простирал руки к морю. Ведь там, вдали, по ту сторону убогой и злобной действительности, всегда лежало царство благородства и мощной радости. Теперь там больше не было ничего! «И вы все еще так же слабы», — сказал он своим рукам.

— Ах! я не силен. Я только хвастал. Теперь судьба придумала нечто необыкновенное — и я побежден.

За его спиной послышалось пыхтенье: голова с красным, раздутым, усеянным белыми щетинами лицом лежала, точно отрубленная, на краю скалы и покачивалась. Затем из глубины выкарабкалось тело Рущука.

— Я все время звал вас, мой милый, вы не слышите. Вода тоже производит слишком большой шум... Вы устраиваете славные истории.

— Как это? — воинственно крикнул Нино, обрадовавшись, что может излить свой гнев.

— Вы убежали от нас, что же это такое? Вы можете себе представить, что герцогиня о вас беспокоится.

Нино отвернулся.

— И мы тоже.

— Вы не имеете никакого права беспокоиться обо мне.

Он топнул ногой.

— Какой сварливый молодой человек, — пробормотал Рущук. Он, наконец, нашел на скользком камне место, где надеялся не соскользнуть в своих галошах, и раскрыл зонтик.

— Идемте со мной.

— Посмейте прикоснуться ко мне!

— Хорошо, хорошо, я не трогаю вас... Вот он, молодой человек, которому досталось все, — сказал он самому себе и исподлобья с горечью оглядел Нино воспаленными глазами.

— Приходишь и застаешь эту женщину в ее сказочном дворце, где она преподносит себя, как подносят на блюде из золота и эмали тонкую, редкую дичь, белую куропатку, или что-нибудь в этом роде, уже слегка попахивающую. Крупная жемчужина между двумя большими локонами на лбу и другая в бледном ухе имеют точно такой же неопределенный блеск белил, как и лицо, Оно блестит так матово, оно омыто жирными водами, покрыто пудрой: это мудрое произведение искусства. Благородные формы щек, носа, рта защищены от повреждений утомленной кожей. Глаза, слегка покрасневшие, окружены темными кругами, которые позволяют догадываться, обещают, мучат... Она носит тюрбан, по-восточному сдержана и охвачена холодным опьянением. Она знает себя: знает, сколько сладострастия может дать ей каждый из ее членов, так точно, как я знаю, сколько денег мне должен тот или другой человек... И всю эту гордую культуру и обдуманную зрелость кому она дарит, куда выбрасывает? Она бросает их в сорную траву, она дарит их молодому человеку, который мог бы есть сорную траву точно так же, как белую куропатку, — и оттого, что его тщеславие немного задето, он стоит на камне в воде, топает ногами и не хочет идти в постель!

Нино слышал только одно. Он переступил с ноги на ногу.

— Вы кончили? Заметьте себе, что герцогиня никогда не белится!

И так как Рущук сострадательно покачал головой.

— Берегитесь думать это!

При этом он ткнул кулаком в живот Рущука, который сильно пошатнулся. Тяжелое тело склонилось к выступу утеса. Нино подхватил его, оба побледнели, Нино при мысли: «С дон Саверио бороться мне было не под силу; как же я смею касаться этого? Я трус!»

Рущук лепетал:

— Нас могут увидеть... Вот видите, теперь вы сами подхватываете меня. А если бы вы столкнули меня в воду, вы сами вытащили бы меня, потому что я так закутан в свой непромокаемый плащ, что утонул бы в луже воды. Оставьте же глупости. Я кое-что расскажу вам... Мой зонтик тоже пропал... Вы, собственно, могли бы сами сказать себе, что визит к герцогине меня достаточно волнует. Я не дон Саверио, для того это дело. Он хотел бы на ней зарабатывать деньги, как раньше. Но я способен чувствовать, молодой человек, и я страдаю оттого, что все могут обладать этой женщиной.

— Вы тоже страдаете?

Нино визгливо расхохотался.

— Да, оттого, что все обладают ею, только не я.

Рущук говорил монотонно, производя руками короткие, неуверенные движения. Перенесенный испуг и долгое, выношенное желание, опасное положение в обществе юного безумца среди непогоды на скользком, отвесном утесе, и при этом сознание, что герцогиня с террасы наблюдает за его барахтающимся силуэтом на фоне катящего волны моря — все это вредило его сдержанности.

— Раньше, в продолжение нашей долгой дружбы, она никогда не беспокоила меня. Она была герцогиня и нечеловечески высокомерна, и я твердо верил, что обладать ею невозможно. Конечно, ею все-таки обладали, и теперь я в уме рассматриваю с этой точки зрения всех старых знакомых. Они все у меня на подозрении, — это, знаете ли, необыкновенно неприятно. Даже мучительно. Почему бы и не я тоже? — спрашиваю я. — Герцогиня, красавица и доступна, — ведь всякому хотелось бы обладать ею!.. Теперь она уж больше даже не притворяется. Все обладают ею совершенно открыто.

— Вы лжете, — прорыдал Нино.

— Вы что-то сказали? Итак, все обладают ею, а я все еще нет: это нестерпимо. Я достиг так многого в жизни, а того, что доступно каждому...

— Видите ли, нельзя быть таким безобразным, как вы.

— Это я тоже говорю себе. Но до сих пор это никогда мне не мешало. Я еще добьюсь своего. Только у меня времени уже немного. Иногда, среди дел, во время совещания министров, представление об этой герцогине и ее бесчисленных любовниках мучит меня настолько, что я не могу больше работать. Я задыхаюсь и теряю ход мыслей. Мое положение опасно, молодой человек, может сразу наступить конец.

— Так издыхайте!

Рущук подскочил на месте.

— Почему же? Вы сами еще будете очень довольны тем, что я существую на свете. Ведь я не требую от вас, чтобы вы уступили мне герцогиню — хотя вы могли бы отлично это сделать.

— Мог бы это сделать? О, уходите скорей, я чувствую, что иначе сделаю что-нибудь, о чем буду жалеть всю жизнь!

— Я слышал, что у вас денег немного. Сколько вы хотите? Ведь вам нужно только настроить вашу подругу и своевременно послать за мной. Внушите ей сострадание ко мне!

— Уходите, уходите! — стонал Нино, стиснув зубы, предостерегая и боясь самого себя.

— Чего же я требую такого особенного? Красивую кокотку друзья передают один другому, не правда ли? А в чем здесь разница, молодой человек? Если бы у этой герцогини не было денег, чем была бы она тогда?

Он взвизгнул, потому что нога Нино была уже в воздухе, на пути к его животу. Но Нино отскочил. Он обеими руками прикрыл глаза.

— Уйдите, — умолял он. — Если я открою глаза и вы будете еще здесь...

— Вот так молодой человек; с ним совсем нельзя разумно говорить! — лепетал Рущук, сползая со скалы. Когда Нино открыл глаза, голова опять, точно отрубленная, лежала на краю и качалась. Губы со старческим упрямством продолжали твердить все те же предложения. Наконец, она исчезла.

\* \* \*

Тусклое, бледное зарево заката расплылось, накрапывал дождь. Нино один поднялся назад в Равелло. Время от времени он останавливался, стиснув зубы, сжав кулаки, и, громко дыша, боролся со своими мыслями. Они не давали заглушить себя, он с омерзением отбрасывал их от себя, и ночь казалась ему отравленной ими.

— Ты помнишь, как ты ревновал тогда, в вилле, когда приехал Якобус? Ты был очень несчастен, не правда ли, ты не знал, что происходит в комнате Иоллы. Но вдруг ты увидел зажженную сигару Якобуса, ты бросился к нему, ты был спасен: он здесь, рядом с тобой!.. Кто с тобой теперь?

— О, это бессилие, это ужасное бессилие перед бесчисленными, безыменными, обладавшими ею. Если бы я ревновал к обоим негодяям, которые теперь спят под одной крышей с ней! Нет, я не ревную к ним; иначе я мог бы вмешаться, неистовствовать, вырвать ее из их объятий, простить. Но есть худшее: бывшее, то, чему уже нельзя помешать. Я не могу вырвать ее из объятий ее воспоминаний. Она вся покрыта клеймами старых ласк и следами давних поцелуев. Я не узнаю ее больше... Иолла!

Он зарыдал. Представление о всех ее прошлых наслаждениях зажгло его кровь; она вдруг выступила перед ним во всем великолепии своей улыбки. Он протянул к ней руки, он упал на колени. С хриплым криком отскочил он в сторону: он наткнулся на одного из ее любовников, увлекшего ее за собой на землю, в чащу папоротника. Нино бросился бежать; но они были уже впереди него, они лежали у дороги. Большие, извивающиеся тела, наслаждавшиеся его возлюбленной, плакавшие у нее на груди или ликовавшие, уста в уста с ней. И он видел, как она, его возлюбленная, расточала все ласки своего тела: самые редкие, самые тайные, о которых он вспоминал только с гордым трепетом, — они валялись повсюду у дороги!

— Я ненавижу тебя! Я ненавижу тебя! — кричал он ей. Потом вспомнил, что и барона Рущука представление о герцогине Асси и ее бесчисленных любовниках мучило до удушья, и, согнув спину под таким позором, Нино, ничего не видя, карабкался на гору, споткнулся, упал лицом вниз, поднялся и, шатаясь, пошел дальше, чувствуя привкус слез и крови на губах.

Наверху, откуда был виден город, он закрыл лицо руками, прислонился головой к дереву и спросил его:

— Неужели это возможно?

Никто ему не ответил. В нем самом тоже все замолкло. Отупевший, ошеломленный всеми этими образами и своим собственным отчаянием, он дошел до дома, остановился перед углом, под которым дом вдавался в боковую улицу, и стал упорно смотреть наверх, в надежде, безумие которой сознавал. Счастье, охраняемое этим немым домом, в глубине города, который был только грезой, — все это так глубоко спрятанное счастье не могло уйти. Кто же украл его? Нет, здесь не было никого, Иолла узнает его сверху, она увидит его сквозь щели ставней своего окна. Она заметит, как подергивается и блестит его лицо, и она сейчас откинет ставни и крикнет ему, что его напугало только его воображение: счастье, все еще заботливо охраняемое, лежит в саду под олеандром; она позовет его.

Он ждал. Короткая ночь уже приходила к концу. Тогда Нино топнул ногой и пошел обратно с диким спокойствием, наслаждаясь собственным трагизмом. Он углубился в ущелья; на каждый камень, на который он ступал, уже становилась рядом с его ногой нога Иоллы. Какое значение это имело теперь? Тучи низко нависли над горами. Замок Салерно казался призрачным замком. Неужели это тот самый, в котором ликовал юный Асклитино? Под серым покровом этого утра земля покоилась тихая, задумчивая, покорная. Масличные деревья в глубине росли теснее и казались более темными; их стволы тихо скрещивались, между ними носились белые воздушные фигуры. Знакомые тропинки, их тропинки, тянулись все такие же темные и мягкие. Добродушные овцы вытягивали головы у изгородей, а оба молчаливых старика терпеливо ждали, пока животные плелись дальше... Нино возмутился всем этим миром!

\* \* \*

Вечером, голодный и покрытый пылью, он вернулся домой. Комнаты гостей были пусты. На рассвете он снова исчез, никем не замеченный. Лишь на вторую ночь он встретился со своей возлюбленной в саду, где хотел спать на воздухе. Ночь была очень душная. В благоухающей черной чаще, под беспорядочно разбросанными огнями неба, каждый увидел вдруг белое лицо другого. Прошло несколько секунд.

— Нино, — сказала герцогиня, — знаешь, кто был со мной вместо тебя? Сикельгайта, прекрасная дама с амвона в соборе. На ней была широкая, покрытая драгоценными камнями корона; на пальце она держала попугая; он все время клевал ее зеленое кольцо. Лицо у нее было все как будто из крупных зерен, как мраморное, а голос низкий и все-таки детский. Она играла на гитаре и пела мне песни, которые в ее время пел под ее окном четырнадцатилетний мавр... Так прошли часы, — закончила она и вздохнула, улыбаясь... Она спрятала под сказкой весь свой страх и все волнение крови: грусть и желание, попеременно мучившие ее, как его мучили картины ревности.

— Иолла, я два дня и две ночи бродил по горам, в тоске и отчаянии.

— Но я еще вчера утром прогнала их обоих. Ты мог вернуться.

— Я не вернулся, Иолла, из-за многих других, которых ты не можешь прогнать.

— Я знала это. Ты разочарован, потому что я и прежде испытывала желания и удовлетворяла их. Ты находишь, что я должна была рассказать тебе об этих мужчинах. Но тогда не должна ли была я тебе рассказать и о блюдах, которые я прежде ела, и о тканях, в которые одевалась?

— Я не понимаю. Ты сделала меня очень несчастным.

Он еще лепетал упреки, опустив глаза. А ему хотелось просить прощения. Он преодолел свое горе, он оставил его, выплюнув, как мокроту, на далеких тропинках, по которым бродил. Он был опять здоров. «Почему Иолла должна страдать? Я слышу, она страдает».

— Я скажу тебе, Нино: один был плодом, и я вонзила в него зубы. Другой был ароматом утра у моря, третий не больше и не меньше, как прекрасным конем — нечто очень привлекательное, это ты признаешь сам. Но какое отношение это имеет к тебе? Тебя я люблю.

— Я знаю это, Иолла.

— Ты веришь мне? Ты, значит, веришь мне?.. Я боялась, что это будет продолжаться долго и что в конце концов ты дашь только уговорить тебя, потому что я нужна тебе, потому что я тебе нравлюсь. И вот ты просто веришь мне, — почему?

— Я не знаю, Иолла. У меня больше совсем нет сомнений.

Она смотрела на него, она восхищалась им. Какой усталой она чувствовала себя в этот жаркий день, под тяжестью того, что было такой ясной истиной, и к чему она должна была подвести его ощупью с помощью умных слов. «Неужели мы, действительно, слепые, погруженные каждый в свой глубокий мрак?»

И вот он пришел, справившись со всем, что постигло его, посмотрел на ее чело и нашел его совершенно чистым, и почувствовал в себе достаточно силы и гордости, чтобы поверить всему. О, он молод!

Она радостно воскликнула:

— Поди сюда, Нино!

Он упал к ее ногам. Она взяла обеими руками его голову и заговорила, прильнув к его белокурым волосам. Доказательства и убеждения превратились в благодарные ласки.

— Ты не знаешь, почему веришь мне? Я объясню тебе: потому что наши души родственны!.. И заметь себе: я еще никому не говорила этого!

— Я люблю тебя, Иолла!

— Я говорю с тобой, точно сама с собой, я слушала тебя, точно свои собственные грезы. О, грезить об одном и том же — это все. Подумай о том, как мы с давних пор играли друг с другом, и каждый знал, что думает другой. Еще когда я была ребенком и пастушкой Хлоей, не правда ли, ты был тогда Дафнисом?

— Я всегда любил тебя!

— Конечно. В Венеции ты выдавал себя сотни раз, дитя. Но мы всегда делали вид, что ничего этого нет. Помнишь?

— Я был так горд только потому, что был еще мальчиком и не мог надеяться ни на что. Но теперь, когда я стал мужчиной и твоим возлюбленным, я совсем смиренен... Иолла, мне стыдно, что я касался других женщин, низких.

— Ты будешь это часто делать, и я не буду чувствовать себя обманутой.

— Я слаб и люблю приключения, я сознаюсь в этом. И мои приключения всегда кончаются женщиной.

— Слушай: мы любим друг друга, как свободные и равные, уважающие друг друга даже в своих заблуждениях. Мы не хотим разрушать друг друга страстью. Ты разрушишь, может быть, другую, и не сломит ли какая-нибудь женщина твою силу и твою гордость? Но я хочу тебя молодым и решительным... Ты опять расстанешься со мной...

— Никогда!

— О, ты увидишь, как это просто... Мы, Нино, слишком любим друг друга. Мы не могли бы неистовствовать друг против друга от великой страсти. Я видела ее и — испытала сама. Ты знаешь о кроткой Бла, поэтессе, которая когда-то умерла в Риме? И о великой Проперции? Одна отдала себя на съедение животному. Другая дала себя замучить до смерти остроумному ничтожеству, и никогда не подозревал он блаженства и мук, источником которых был!

Нино чувствовал, как дыхание возлюбленной на его затылке становилось теплее и порывистее. Он с сжавшимся сердцем спросил:

— А ты, Иолла?

— Я...

Она возмутилась против воспоминания о Якобусе. Она выпрямилась и нетерпеливо повела плечом.

— О, меня моей страсти научил не человек. Три богини, Нино, жестокие от нежности, одна за другой влили мне в сердце свою высокую страсть — к свободе, искусству и любви.

— И всегда и везде ты — Иолла.

— Ты узнаешь меня?

Она подняла голову с колен и заглянула ему в глаза.

— Ах, за это слово я поцелую тебя!.. Ты любишь меня — и поэтому ты знаешь, что я существую. Ты веришь в женщину, которую ты называешь Иоллой. Другие знали сначала революционерку, и многие мечтали с ней о свободе. Но она превратилась в энтузиастку искусства, с которой чувствовали одинаково лишь немногие. Затем ею овладела лихорадка любви, и против нее возмутились все. Они настолько варвары, что видят только поступки, а не человека... Как далека я была всегда от всех... Из своей чуждой страны я часто причиняла им вред, я знаю, меня должны ненавидеть.

Нино вскочил.

— Они не посмеют! Они будут наказаны слепотою, как поэт Стезихорос, поносивший Елену! Что за дело до того, приносила ли ты пользу или вред. Ты священна, я вижу тебя в бессмертном величии. Я молюсь на тебя именно потому, что у тебя было, не знаю, сколько возлюбленных. И я считаю твои приключения такими же далекими и достойными уважения, как мифологические любовные истории!

Она наслаждалась его энтузиазмом.

— Нет, я не буду жаловаться, — медленно и блаженно сказала она. — У меня были люди, родственные мне: Бла, Сан-Бакко, которому свобода в награду за его великую любовь принесла мученическую смерть, Проперция — все гордые и несчастные, все созданные из бездн каждой пропасти, из звезд каждого неба!.. И с тобой, Нино, я могла говорить так, как будто я уже не одна. Благодарю.

Солнце взошло. Они увидели свои лица в светлом, блистающем воздухе. Вокруг них, в саду сотни красок с шелестом вставали из мрака.

Они подошли к откосу. Море улыбалось и изгибало свои члены. Горизонт пел в утреннем ветре. Залив открывался перед ними, как большой круглый цветок, наполненный свежим хмелем. Нино сказал:

— Смотри, как ясно и сильно выделяется на небе замок, в котором жил Асклитино.

\* \* \*

В течение недель они не нуждались ни в чьем обществе, каждому нужен был только другой. Затем они узнали из газет, что молодая партия готовится к новому походу. Вождь написал Нино. Герцогиня видела, что он неспокоен, она попросила его последовать зову. Он уехал.

При расставании он был бледен и взволнован, но она сказала:

— Что это была бы за любовь, если бы она держала тебя вдали от жизни? Разве мы враги?

— Нет... До следующего раза, — воскликнул он.

— Я люблю тебя... — сказала она и неслышно прибавила: — за этот следующий раз, в который ты веришь.

Они расстались в Неаполе на вокзале. Герцогиня поехала в свой дом на Позилиппо, где ее с нетерпением ждал поклонник, который написал ей, и которому она назначила здесь свидание.

V

Она извивалась в объятиях нового возлюбленного: толпы. Непрерывное шествие тел, обещавших наслаждение, проходило через ее спальню — худощавых, томных и выхоленных, атлетических, плотных, гибких тел девушек и нежных, точно тающих, тел детей. За рыбаком из Санта Лючии следовал клубмен. Крестьянка с теплым золотом кожи и низкими, густыми бровями над спокойными глазами оставляла глубокий отпечаток своих форм на подушках, на которых вытягивалась Лилиан Кукуру; и ее холодное совершенство разрывала болезненная судорога впервые испытанного желания отдаться и раствориться. Сэр Густон явился к герцогине и объявил, что его мать позволила ему это.

Другие матери писали просительные письма или сами приходили и приводили с собой сыновей и дочерей, преимущества которых выхваливали. В Caffe Turco элегантные молодые люди лгали друг другу о необыкновенной славе, добытой в постели герцогини Асси. Вечером в народном саду какой-нибудь полунагой оборванец, смывавший у фонтана копоть от работы, рассказывал товарищам сказку, в которой среди драгоценных камней и всевозможных яств сверкало ее имя. Ложась спать, она слышала под кроватью вздохи обожателей, подкупивших ее слуг. Молодые иностранцы представлялись ей; они приезжали из далеких стран в надежде понравиться ей. Быть отличенным ею давало право на счастье у женщин без всяких издержек и на выгодную женитьбу. Вся горячечная, кипучая любовная жизнь, полная странных утонченностей, остроумных выдумок и исстари известных возбуждений — все, что наполняло лихорадкой этот город наслаждений: горячие юноши, страстные матроны, продающиеся дети, умелые женщины — весь дымный, темный, мучительный огонь вырастал в светлое языческое пламя во дворце на Позилиппо.

Его высокая и длинная галерея с колоннами выходила на море. С открытых сверху мраморных стен ниспадали тяжелые темно-красные ткани: на их фоне выступало в своей красоте белое тело. Другие тела, цвета бронзы, выделялись на покровах из желтого шелка. Статуй в залах не было, не было их и в лоджиях и на садовых дорожках. Но всюду, рядом с большими цветами, пышно расцветало тело, сверкающее или матовое. Герцогиня желала видеть на всех ступеньках лестниц и у каждого фонтана гибкие движения молодых членов. Юноши и девушки распускались, как цветы, в ее близости, на солнце, морском ветре, среди плодов, и она была счастлива, что может видеть, как приливает кровь к этому теплому телу, и смотреть на нежную эластичную кожу, питающую его. Она говорила себе:

— Постигну ли я когда-нибудь вполне то, что растет вокруг меня, играет мускулами, выпрямляет суставы, изгибается и ширится? Из энтузиастки художественных произведений я превратилась в поклонницу человеческого тела. Ах! Художественные произведения не двигались, они отдавались и насыщали меня... Живая же красота растет, берет меня, продолжает расти, покоряет меня, все еще растет и будет ликовать в своей полноте лишь тогда, когда я буду истощена и закрою глаза!

Ее верный друг Дон Саверио приводил ей своих протеже. Он пояснял сам:

— Так как вы не позволяете мне, герцогиня, продавать вас другим, то я продаю их вам.

Он держал во всей стране агентов для поисков человеческого совершенства и уверял, что не боится никакого соперничества. Он отказался от своих прежних опасных средств для достижения власти и стал чем-то вроде мажордома на службе у герцогини. Он заведовал устройством ее празднеств.

Гости возлежали на галерее, за золотыми чашами, между краями которых расстилало свой бархатный покров вино, на пурпурных подушках в глубине широких мраморных скамей. На полу, на сверкающих квадратных плитах сбивались в красные лужи лепестки роз. Стройные ноги юношей скользили по ним. На упругих грудях Эмины и Фариды звенели тамбурины. Их маленькие ладони краснели от игры. Крупные плоды, лопавшиеся под пальцами гостей, бросали им в лицо свой сок. Множество девушек кружились между колоннами, оставляя на них свои прикосновения, точно венки. Их звали, требовали вина и поцелуев, открывали объятия и предлагали прохладные сиденья их разгоряченным телам.

\* \* \*

Герцогиня сидела во внутреннем зале с мраморным полом. Было прохладно: из длинных тенистых коридоров врывался ветерок. У ее ног простиралась гладь большого бассейна.

И она стала разглядывать в текучем зеркале собственную наготу.

Это тело, никогда не рожавшее, было девственно в своей разрушающейся зрелости. Эти груди, маленькие и упругие, ежедневно окунали свои черно-голубые соски в цену новых наслаждений. Посреди живота резко выделялась широкая складка; она была похожа на змею, жалившую своими укусами это стремившееся к наслаждению тело. На гладком животе и благородной покатости плеч матовый алебастр кожи оттенялся несколькими желтыми пятнами. То был след поцелуев слишком пылкого любовника, которого нельзя было больше забыть: времени. Внутренняя сторона рук была дряблой, и крупные жилы набухли от голубовато-фиолетовой крови, гнавшей эти часто опускавшиеся и все вновь поднимавшиеся руки: обвивайтесь вокруг новых шей! Кисти рук, когда-то освященные и завершенные прикосновением к вазам и бюстам, снова приобрели что-то почти детское; на высоте своей мудрости, к концу стольких упражнений, они свисали снова, неутоленные и беспомощные. Все тело раньше, во времена торжествующей жизни на тронах искусства, среди его жертвенников, было пышнее. Теперь оно становилось все худощавее; дряблое, истощенное и изнуренное горячечной страстью, оно после каждой любовной ночи таяло немного больше; и, едва прикрытый натянутой влажной кожей, каждый мускул, беспокойный и горячий, тянулся к мимолетной руке, обещавшей немного услады.

Большое ярко-красное пятно плавало в воде. Это было отражение ее выкрашенных волос. Под ними она увидела свое лицо, бледное и худое, и среди его блеска тени разложения и маленькие впадины, в которых оно скрывалось и работало. Рот кроваво извивался во все более торопливой жажде наслаждений. Улыбка натягивала кожу под носом и под глазами так туго, что она имела синеватый отлив. Это была улыбка безумного блаженства — почти гримаса. Она сама не знала, усмехалось ли это лицо в легкой радости или гримасничало в страхе. Оно вызывало — и оно пугало своей отдаленностью от жизни. Оно умирало, это было видно... золотисто-зеленые тени на лбу под волосами, поднятыми над головой, точно медно-красный шлем над тщательно вылепленной маской; потемневшие, морщинистые веки и перламутровые оттенки щек; искусственно розовые, как восковой плод, подбородок и нос; и узкая, черная, болезненная поперечная складка на страстно изогнутой, набеленной шее — все это переливалось и тревожило, как гниющая масса, ярко и подозрительно блестело, как масляные пятна в стоячей воде, сверкало и манило, как блуждающие огоньки на глубоких болотах, трогало, пугало и очаровывало, как торопливые удары крыльев умирающего яркого мотылька.

Она вопросительно посмотрела себе в глаза. Это были все те же глаза под высокими черными бровями; их взгляд находил дорогу издалека, с серо-голубых морей. Но в них дрожал блеск опьянения и страха. Они были зрителями этого тела, белого кладбища все новых желаний, возгоравшихся и умиравших в нем.

И она ответила своим глазам:

— Речь идет о том, чтобы завершить начатый жест, прочитать до конца уже почти оконченное стихотворение.

\* \* \*

Чем больше подвигалось лето, тем больше мучила ее никогда неиспытанная усталость. Ее уж не освежал вечерний воздух, она просыпала наслаждение чистым, ветренным утром. Внизу, у моря, все было светло, весело, полно движения и бодрости — каждое утро снова. На ней тяготел вечный полдень. Ей казалось, что ее изгнали в пустыню. Песок проникал сквозь поры кожи в ее кровь, вяло передвигался в жилах; в конце концов он должен был остановиться... С празднеств она уходила мрачная. Из крепких объятий она выходила с головокружением, сердцебиением и тошнотой. Ночью, лежа у открытого окна, без покровов, с сухой горячей кожей, она спрашивала себя при свете немигающих звезд:

— Откуда этот страх, забирающийся Даже в кончики пальцев на ногах?.. Я знаю его. Он являлся и тогда, когда Якобус и великое творение изменили мне. Он являлся и еще раньше, в Кастель Гандольфо, когда наступил конец моей грезе о свободе. Всегда наступал конец чему-нибудь, когда я так в темноте, при свете зарниц, лежала с бьющимся сердцем и принимала морфий, — всегда наступал чему-нибудь конец. Что же на этот раз?

В глубине души я, быть может, знаю это, — ответила она себе однажды. Но я не хочу знать. Было бы унижением признать, что может наступить конец нам самим.

Она уехала к заливу Поццуоли, в старый сад, который поднимал над своими лихорадочными верхушками ее, Венеру, который видел ее прославление. Она жадно осмотрела все места: долину с кипарисами, ручей и фонтан, сиденья на ступенях, храм.

— Вот оттуда вышел Нино... Как невероятно давно это было. Три месяца? Я, должно быть, ошибаюсь.

Ее вилла одиноко стояла у маленькой бухты. Она была одна, она сидела на террасе, в тени парусинового навеса, и пробовала читать: стихи Жана Гиньоль — стихи, переливавшиеся в саду, заставлявшие жужжать пинии и вздыхать женщин и опускавшиеся наверху у белого храма, как голубки с красными лапками, перед ней, богиней... В это мгновение он сам заглянул в книгу.

— Я опять здесь, герцогиня... Так вы еще думаете об этом? Эти бедные слова еще говорят вам что-нибудь?

— Я радуюсь тому, что они новы для меня. Ах, хоть что-нибудь да остается!

— Они остаются только для тех, кто способен всегда свежо чувствовать. Если бы такая способность чувствовать, как ваша, герцогиня, могла когда-нибудь ослабеть, все творения сразу умерли бы... Но об этом я не тревожусь.

— Вы правы, — объявила она. — Мое здоровье прекрасно.

Он отвернулся, побледнев от скорби. Он боялся разразиться рыданиями.

— Но и такое здоровье, как ваше, герцогиня, не следовало бы подвергать в это время года риску климата этого залива. За ним лежат болота: этого не надо даже знать, это чувствуешь обонянием.

— Конечно, альпийский воздух был бы мне полезнее. Я должна была бы поехать в Кастельфранко, в мою прекрасную виллу... Но была ли бы она теперь прекрасна?

— Почему нет?

— Если статуи, которые когда-то были моими ближайшими друзьями, взглянут на меня, как на чужую — нет, я не сделаю этой пробы, Я не хочу ничего вызывать обратно... Как дивно темно было в беседках под дубами! Как качались розы на блестящих верхушках! Фонтаны, аллея молчания, заглохшая лужайка с цоколем в середине — я счастлива, что у меня было все это. А теперь я счастлива тем, что у меня есть теперь. Посмотрите только.

Из сада на террасу с буйной силой ломились мясистые пучки красных растений. Они протискивали свои вздувшиеся чашечки между колонками перил, они влажными клубнями ползали по плитам, липкими дугами изгибались на балюстраде и наполняли сад дымящимся морем крови.

— Это лихорадочные цветы, — сказал Жан Гиньоль.

— Я хочу их, — возразила герцогиня. Он замолчал Они больше не возвращались к этому.

На следующий день приехал Рущук с кипой деловых бумаг, на которые герцогиня бросила равнодушный взгляд. Он остался, и двое мужчин, не имевших во всю свою жизнь ни одной общей мысли, проводили целые часы вместе, когда герцогиня спала, когда она казалась усталой, или же когда нетерпеливо вытягивала руку по направлению к берегу.

— Подите, узнайте, куда идет судно, вот то, голубое, что сейчас снимается с якоря.

Они ежедневно в легком тоне делились своими наблюдениями над тем, как выглядела их возлюбленная. Каждый чувствовал, что другой не может похвастаться перед ним ничем. Они жалели друг друга и иногда доставляли друг другу милостыню разговора с ней наедине. Рущук при одном из таких случаев объявил ей:

— Надо вам знать, что меня, как я ни стар, еще ни одна женщина, в сущности, не заставляла страдать. Вам удалось это сделать.

— Я горжусь этим.

— Я должен обладать вами, герцогиня, иначе желание задушит меня. На моих глазах другие наслаждаются вами — справедливо ли это?..

— Это дается не по заслугам, мой милый.

— Разумеется. Иначе я был бы первым. Разве я не самый старый, самый верный ваш слуга? Но я кое-что придумал. Что, если бы я сделал так, чтобы вы потеряли свое состояние? Для меня это пустяк.

— Вы не сделаете этого. Для этого надо мужество.

— В таких вещах я уже не раз проявлял мужество.

— И потом вы, кажется, стали религиозны.

— Несомненно. Но уступили бы вы моим мольбам, чтобы получить обратно свое состояние?

— Нет.

— Нет? Это удивительно. Не будем больше говорить об этом. Я даже умножаю его, несмотря на вашу расточительность.

— Вот видите.

— Да, я религиозен. Я стараюсь становиться все более достойным дружбы нашего генерального викария.

— Тамбурини? Я не сомневаюсь в успехе ваших стараний.

— И вместе мы не остановимся ни перед чем, чтобы спасти вашу душу. Обратитесь, пока не поздно!

— До свидания, придворный жид, — сказала она.

Он начал вдруг плясать на месте, на котором стоял, с искаженным упрямством лицом.

— Вы раскаетесь в этом, — пробормотал он. — Я не тот, кем вы меня считаете. Я способен на страсть.

— Я знала вас человеком со слишком ясной головой в ту пору, когда вы отреклись от моего потерпевшего крушение дела, когда вы свои политические глупости, совершенные на службе у меня, сумели истолковать, как хитрую измену мне... В сущности, я знаю вас только трясущимся и изобретательным от страха... Подумайте же о здешнем климате.

— Это мне безразлично.

— Вы знаете, что со времени вашего приезда у вас поразительно скверный вид?

— Я и чувствую себя скверно.

— Я советую вам уехать как можно скорее.

— Нет.

— Почему?

— Потому что мне совершенно безразлично, погибну ли я здесь. Я должен обладать вами.

— Это самое важное? А жизнь?

— Вы ведь слышали: я поглощен страстью — что мне жизнь? Мне самому неприятно, что это так; но что я могу поделать?

— Вы рискуете из-за меня? Вы не трус?

Она смотрела на него в упор, она искала в стертых временем чертах старого финансиста чего-нибудь молодого. Она откинулась назад и вздохнула от удовлетворения. «Это хорошо», — сказала она, наслаждаясь тем, что не должна больше презирать.

Он пыхтел от нетерпеливой надежды.

— Ну, что ж, теперь я получу свое?

— Теперь меньше, чем прежде. Вы больше не первый встречный.

— Вот видите, какая вы кокетка! Вы мучите человека до последней возможности. Я понимаю, какое это безумие: любить вас. Вас, который каждый может обладать — только не я. Я хотел бы знать, насколько должен понизиться уровень ваших требований, чтобы очередь дошла и до меня!

Она слушала со спокойной улыбкой. Он не мог больше исказить свой лик, он стал менее безобразен.

Жан Гиньоль сознался однажды, когда они сидели одни:

— И вот я все-таки томлюсь по вас. Вы помните, этого я боялся больше всего.

Она не хотела ничего знать. Опять душа, полная муки! Она упрямо отклонила.

— Я немного устала, я знала слишком много мужчин.

Он багрово покраснел.

— Вы должны понять, как сильно я страдаю от этого, с каким слепым самоотречением я принужден любить вас — после стольких других!

— Я этого не требую.

— Но я сам требую этого! Я не хочу никогда обладать вами! Вы должны быть моим идолом, вы, возлюбленная бесчисленного множества!.. Я больше не хочу даже толковать вас, угадывать вас, давать вам ту или иную форму, как когда-то, когда я знал вас только издали и в глубине самого себя. Я хочу только прислушиваться к невыразимому в вашей душе, — не ища слов для него.

— Чего же вы хотите от меня? Невозможного творения, которого вы никогда не напишете?.. Ах, я знаю все это. Эти мольбы, эти властные требования именем творения, эти экстазы и отрезвления: я уже раз пережила их. В конце концов расстаешься без удовлетворения и с ужасом думаешь о том, как каждый мучил другого.

Она прибавила про себя. «А тебе суждено приходить с твоими домогательствами именно тогда, когда у меня болит каждый нерв и когда одно прикосновение твоих губ к моему рукаву заставило бы меня вскрикнуть».

— Герцогиня, — прошептал он с пересохшим горлом.

— Чего же вы хотите? — медленно спросила она, глядя ему прямо в глаза. И ее взгляд сказал ему, как ужасающе далек он был от нее.

— Я говорю в пространство, — сказал он себе, и ему стало холодно. Но он еще боролся! — Герцогиня, каждая секунда, которую вы проводите в этом лихорадочном воздухе, заставляет меня страдать. Будьте милосердны, позвольте мне увезти вас в какую-нибудь более чистую, более счастливую страну.

— Более счастливую... Вы всегда говорите так, как будто я не счастлива. Вы знаете, что это обидно?

— Я знаю только, что я сам слишком несчастен, и я не могу поверить, что вы можете быть счастливы, раз вы не в состоянии утешить меня, раз вы одиноки и суровы.

Она не ответила.

— Дайте мне надежду, дайте ее себе! Скажите, по крайней мере, что вы хотели бы этого — что вы хотели бы последовать за мной!

Он ждал в тревоге. Наконец, она уронила:

— Это было бы бесполезно... У меня больше нет времени.

Он закрыл лицо руками и отошел от нее. Он сказал беззвучно, вглядываясь в свою душу:

— О! Сознавать, что эта женщина — единственная, — та, в которой я нашел бы снова все, что было в молодости так волшебно светло и что я потерял; та, в которой я был бы одновременно юношей, мужем и старцем. Та, в которой я чувствовал бы вдвойне все, что суждено мне.

Она думала:

«А когда мы говорили друг с другом в первый раз, и ты находил ужасным томиться по мне, тогда я извивалась от желания тебя! Тогда мне хотелось слушать серьезные, нежные слова, положить руки на склоненную передо мною голову и позволить обожать себя. Это было очень давно, ты тогда совершенно не понимал меня».

Она подумала, сказать ли ему это. Холодное сострадание заставило ее промолчать.

Он, наконец, открыл глаза, и его ошеломила алая пышность этого сада. Точно в горячечном бреду бушевала вся эта растительность, обрушиваясь на ограду. Она содрогалась в неумолимых объятиях двух сильных кипарисов. Вдали сверкало море, свободное от парусов.

— Слишком поздно, — пробормотал Жан Гиньоль. — В первый раз ей предстояло слишком много пережить. А теперь уж не осталось ничего.

Он оперся о балюстраду, у него кружилась голова. Ему казалось, что он узнал что-то, чему не было места в жизни, что не согласовалось с фактом существования.

— Это уже прошло, но мгновение я видел то, чего не понимает никогда никто: что я совсем не должен был бы жить. Моя жизнь не удалась! Я не нашел своего пути и упустил встречу с той, которая только и была бы моим оправданием!

Он чувствовал ее за собой, совсем близко, — и ему хотелось здесь, под ее взглядом, положить голову на руки и зарыдать. Потом он испугался и спросил себя, не литература ли это?

— Не искусственно ли все это? Не хочу ли я сделать из этого пьесу? Неужели я только равнодушный толкователь судеб, который ради ремесла принуждает себя к переживаниям?.. Я не знаю себя. Кто хоть раз сделал из своего переживания стихи, тот не смеет больше верить себе. Это самое худшее.

— И если бы она сказала мне: «Да, я хочу любить тебя, — говорил он потоку ядовитого багрянца, у самых своих уст, — даже и тогда это было бы заблуждением. Как было заблуждением хотеть понять ее, мою возлюбленную. Возлюбленных не понимают. Они правы, эти совершенные женщины, которые одновременно и живут и творят, — правы, что любят только очень несложных мужчин, только таких, которые недостаточно умны, чтобы мучить их или докучать им своим мнимым пониманием. Этот Нино! Я не могу даже ревновать. Как он любит ее, и как люблю ее я! Мы любим не одну и ту же женщину! Мы почти не соперники. Для всего, всего быть слишком ясновидящим! В конце каждого короткого полета фантазии я натыкаюсь на слово «заблуждение». В голове у меня жужжит: ты ошибаешься, ты совсем не любишь. Ты хотел бы уметь любить, ты хотел бы жаждать взаимности, но ты не делаешь этого. Ты знаешь, эта женщина была бы твоей, если бы ты был пригоден для нее. А если ты бы был таким, то не любил бы ее так, как теперь, — она была бы для тебя другой. Лабиринт: он зовет повеситься на одном из его деревьев... Мог ли бы я умереть?.. О, мне страшно!»

Наконец, он обернулся — и опустил руки. Ее не было.

Он смотрел на опустевшее место. Он не надеялся, что она будет слушать его замирающий шепот, что она крикнет ему: все это неверно, и ты можешь жить! Нет, она сидела молча, далекая, невнимающая крикам его сердца. Но она все-таки сидела там, поставив ноги на те же плиты, сидела за его плечом... Нет, даже и этого нет. И он затрепетал в сознании одиночества без границ, без исхода, без отклика.

\* \* \*

Рущук и Жан Гиньоль заболели один за другим лихорадкой. Из слуг многие тоже поддались ей. Герцогиня чувствовала себя лучше. Врач, навещавший больных, сказал ей:

— Злокачественный воздух ничего не мог пока сделать вам, герцогиня. Вашим возрастом объясняется, что вы — последняя. Но если только лихорадка захватит вас, она уже не выпустит вас живой. Уезжайте, уезжайте!

Оба ее друга были вне опасности; тогда она вернулась в город, заметно поправившись.

Было начало сентября, несколько сот человек с деньгами и титулами прибыли в Неаполь из Америки и Европы. Они знали друг друга по бесчисленным увеселениям в пятидесяти местах земли. Когда-то, в Заре, они присутствовали при революции юной герцогини Асси, как при охоте на лисиц или карнавале. В Венеции они посещали празднества, на которых рядом с зрелой красотой герцогини Асси блистало совершенное искусство. Теперь они явились, чтобы посмотреть, как взрыв ее позднего сладострастия зажигал пламенем весь город.

Языческое пламя из дворца на Позилиппо разливалось по всему Неаполю. Народ кидался в него. Где бы она ни проходила, он в судорогах кричал ей о своем поклонении. Он неистовствовал на оргиях, которые она оплачивала. Ночью на длинных набережных горели факелы, и жадные глаза, разгоряченные тела бросались в воду, из котлов бродячих булочников вылетал красный дым, лилось вино, раздавались страстные слова, не прекращались объятия. Под венками света от цветных бумажных фонарей и искр от факелов дома пестрели розовыми и зелеными пятнами, лица ярко вспыхивали, причудливыми красками озарялись движения, и сверкало море, сладострастно извиваясь под чешуей из меди и золота.

Во главе бесконечного ряда экипажей с гостями ездила герцогиня по Санта Лючия. Сверкали драгоценности и ордена, дрожали кружева, хлопали веера, носились благоухания дорогих духов, а между экипажами прыгали обнаженные парни, и с берега махали девушки в кое-как надетых юбках и расстегнутых корсажах. За руку в элегантной перчатке, в божественном спокойствии свешивавшуюся с подушки экипажа, цеплялась прекрасная, трепещущая рука простого смертного. Купающиеся стояли на шелковых подушках дам и во время езды бросались в море.

Рядом с дверцей экипажа герцогини без устали бежал прекрасный, хрупкий мальчик лет четырнадцати. Он не просил ни о чем, он только не отрывал от ее лица глаз; они были полны томления, беспомощного и невыразимого. Иногда он маленькой, смуглой рукой отбрасывал падавшие на глаза волосы. Наконец, она бросила в воду кольцо, и мальчик прыгнул за ним. Когда она в следующий раз проезжала мимо, его только что вытащили. Он уцепился в глубине за столб, он не хотел больше видеть света, где существует нечто такое недосягаемое, а ее кольцо он крепко зажал между зубами. Теперь он лежал на мостовой, свет факелов с телеги торговца плодами погружался в мягкие ямочки на его детском теле и светлыми кольцами ложился вокруг его маленьких мускулов.

Во время блестящего фейерверка на Пиацца-Сан-Фердинандо застрелился племянник префекта, молодой Люциан, которого женщины передавали друг другу, как нюхательный флакон. Он застрелился в то время, когда вокруг него трещали ракеты, и все лица были обращены кверху — так что выстрел не был никем услышан. Его вынесли из-под ног толпы, думая, что он от тесноты упал в обморок. Затем на нем заметили кровь, а на груди у него нашли фотографию герцогини Асси.

Сын деревенского трактирщика попробовал дать ей яд в стакане апельсиновой воды, которую на прогулках иногда подносил ей к дверце ее экипажа. Ей показался вкус напитка дурным, и она отдала его обратно. «Я хотел выпить после тебя», — побледнев, пояснил молодой человек и стойко проглотил питье.

Но своей странностью больше всего поразила смерть недалекого, состоятельного землевладельца из Пистойи. Сейчас же после его появления Лилиан Кукуру обратила на него свое внимание и без труда склонила его к помолвке с собой. Впрочем, она скоро раскаялась в этом; она вспомнила, как гордилась своей свободой, к тому же она видела, что бедный Карло безумно влюблен в герцогиню. Она предложила ему вернуть его слово; из совестливости он долго колебался и согласился лишь за день до свадьбы. Однако, дон Саверио не был расположен выпустить из рук неожиданного мужа своей сестры. Он сообщил ему, что каморра занята им; он должен жениться или же быть готовым к внезапной смерти. Бедный Карло женился. Он стоял на коленях на ступеньках алтаря, отвернувшись от невесты. В церкви друг другу показывали каморристов, которые настигли бы его, если бы он вздумал бежать... Он бежал иначе.

В просторной лоджии в доме герцогини Асси, на одном из ее одуряющих празднеств, он сидел полускрытый колонной и смотрел на нее. Он провел так всю ночь напролет. Она изредка бросала взгляд на его лицо; оно казалось ей очень бледным. Не глядя на него, она ясно чувствовала, как оно становилось все белее. Тяжелые, пылающие взоры на этом мертвенном лице мучили ее. И вдруг, в то мгновение, когда повеял первый утренний ветерок, бедный Карло бесшумно упал под стол. Оказалось, что вода бассейна, у которого он сидел, за стеной цветов, окрасилась в темно-красный цвет и что покойный вскрыл себе жилу на левой руке, и в теле у него осталось едва несколько капель крови.

Было трудно понять, что даже почтенный провинциал был захвачен безумием других. Но вдоль всего залива носилось веяние безумия. Герцогиня сама ощущала его. Каждая новая смерть, наступавшая из-за нее, бросала ее жажду наслаждений во все более безудержные водовороты. Ее до боли пронизывало желание осчастливить всех, избавить всех от того, что их угнетало, дарить наслаждение, насколько хватало сил, и среди всей трепещущей жизни не оставить смерти ни одного уголка на полу, где она могла бы уцепиться.

Но смерть настигала ее, как бы бурно она ни мчалась; она всегда была на месте раньше ее. Всюду, где проходила она, — сладострастие, — с мостовой, даже под копытами ее собственных лошадей, поднимала голову смерть. Чем больше горячечно-знойной жизни она дарила, тем больше смертельного холода получала обратно.

И она, не изнемогая, жила безумной, порождающей несчастье жизнью, за которую ее ненавидели. С застывшими лицами шли навстречу ее красоте, проклинали ее и жаждали принести себя в жертву ей.

Случалось, что опьяненные молодые люди выпрягали лошадей из ее экипажа и, как рабы, с проклятиями, везли герцогиню. В толпе она слышала теперь мстительные крики вместе с грязными словами. Восторги и угрозы брызгами разлетались вокруг колес ее экипажа, точно одна и та же грязь. Однажды ночью народ разгромил газетные киоски и сжег кипы иллюстрированного листка с ее портретом — между тем как море было полно пылких гитар, звавших ее.

Из-за волнений, которые она вызывала, она показывалась теперь очень редко. Многие, которым она являлась издали, почти не представляли себе ее человеком. Она была вездесущим, чудовищным символом любовного вожделения, бичевавшего город. Она снова стала Моррой, ведьмой, которая пожирала человеческие сердца, и на утес которой проезжавшие мимо рыбаки смотрели зачарованные, с жутким желанием.

Однажды вечером у ее ворот собралась разъяренная толпа и хотела поджечь дом. Гнусные песни, сопровождаемые ударами и криками толпы, врывались в ее празднество. Наконец, ей подали письмо, и оказалось, что весь этот шум поднял Жан Гиньоль: он покончил с собой. Уже из небытия он посылал ей свою благодарность за сладострастное безумие, в которое она вместе со всем городом ввергла и его. «Какое счастье! Я знаю, что действительно люблю вас, без литературы — по крайней мере, в это мгновение, когда решаюсь умереть! Совершенно искренно и невинно умираю я — одно из беспомощных тел, которые, пораженные вашим взглядом, испускают дух на вашем пути! Я люблю вас! И я делаю это не ради красивого стиха — ведь я умираю!»

Она разорвала письмо. Она дрожала от гневного презрения. «Вот к какому средству он прибег. Я не позволила ему связать себя со мной другим способом: поэтому он умирает из-за меня. Он забрызгивает меня своей кровь. Какая трусость! Он дал победить себя, и он хочет, чтобы и я страдала от его поражения: трус вдвойне!»

Но от собственной суровости ей было больно, как от припадка болезни.

Она держала в эту ночь увитый виноградом жезл очень высоко. В первый раз в ее оргии звучал хриплый тон отчаяния. Бедного Рущука она дразнила и разочаровывала до тех пор, пока его лицо стало синевато-багровым, а язык странно тяжелым. Затем она властным жестом Венеры, соединяющей Елену и Париса, толкнула его в постель к Лилиан, которой нужны были деньги. Уверяли, что на этот раз у министра был настоящий удар. За окнами еще ревел мятеж, поднятый трупом Жана Гиньоль; а из среды гостей к ней доносился враждебный ропот.

Она стала опять выезжать. Она появилась в театре Сан-Карло, выйдя навстречу ярости, бушевавшей вокруг нее, при поднятом занавесе. Гвардия ее безусловных поклонников, состоявшая из кавалеров с орденами в петлице и оборванцев, защищала дверь ее ложи. Она смотрела вниз, на зал, где люди корчились в судорогах ярости, вверх на галереи, откуда ей угрожали кулаками, и в этой толпе она узнала народ, который в Заре неистовствовал вокруг ее экипажа, потому что она оправдывала убийцу. Ей казалось, что перед ней опять на берегу бухты прыгает старик, в злобе на то, что она взялась за весло. И нечеловечески зияющая пасть римского газетчика снова, казалось ей, открылась перед ней, наполненная слюной, с испорченным дыханием, со звуками смерти, и, ликуя от ненависти, бросала ей в лицо все несчастья, которые произошли по ее вине и во имя ее!

Ее приверженцы воспользовались минутой общей усталости и гнетущей тишины, чтобы громкими криками выразить ей одобрение. Это были старые развратники, кокотки и молодые полумертвецы. Это было худшее, что ей пришлось перенести. Она выдержала и это, очень высокомерная, с лорнетом у глаз, не отвечая на приветствия.

Вдруг она исчезла. Ее экипаж умчался, прежде чем кто-нибудь заметил ее отсутствие. Она сидела в нем такая же неподвижная, как на своем месте в ложе. Она казалась себе застывшей в высоко вознесенном, с трудом воздвигнутом одиночестве. Только не бояться головокружения!

Лакеи распахнули ворота сада. Когда экипаж проезжал сквозь них, герцогиня увидела у железной лиственной сети что-то маленькое — девочку с цветами на коленях. Она, не задумываясь, велела остановиться и вышла из экипажа.

— Дай мне твои цветы, — сказала она.

Девочка не шевелилась.

— Она спит, — пробормотала герцогиня и приблизила губы ко лбу ребенка. Как только она коснулась его, голова упала на плечо. Она пощупала лицо: девочка была мертва.

Она стояла и дрожала. Она чувствовала, что сейчас бросится на тело ребенка и зарыдает.

Со страхом перед самой собой она приказала слугам остаться у ворот и вошла одна в темный парк.

— Девочка умерла с голоду, — сказала она себе. — Она очутилась случайно на камне у моей двери. Какое отношение это имеет ко мне!

Но после всех мертвецов, которые бросили ей себя, точно принадлежали ей, ее свалило легкое прикосновение к этому случайному детскому трупу.

— Их слишком много, их тела лежат всюду, куда я ни посмотрю. Я не понимаю, как я могла перенести их всех: раньше, начиная с Далмации и Парижа, до Венеции, когда передо мной поставили носилки с телом Сан-Бакко. Я чувствовала так же, как та старуха в Бенковаце, которая размахивала черепом своего сына и кричала «Справедливости!» Я была так же сильна! Разве я не дочь сильных, на жизненных путях которых грудями лежали тела побежденных? Сколько людей должны были погибнуть или заглохнуть, чтобы жизнь одного из Асси стала свободной, ничем не ограниченной, великой и прекрасной? Он никогда не считал их! Он брал их, он считал себя достойным всех жертв, у него было мужество на это, и совесть не тревожила его!

— О, мои предки! Где вы? Я никогда не знала, что до такой степени одинока! Какое ужасное одиночество, которое и следа не оставит после себя! После меня свет перестанет существовать!..

— Преклоняются перед моим именем, моей гордостью, перед презрением, которое я даю чувствовать. Но где моя семья? Какой стране я принадлежу? Какому народу? Какому классу? Представительницей чего являюсь? Какие общие интересы оправдывают меня? Горе мне, если я ослабею! Я вся завишу от своих нервов. Никто не потребует для меня уважения, если моя собственная гордость когда-нибудь померкнет!.. Если бы у меня был ребенок!

Вместе с ней по холму поднималась и спускалась садовая стена, а сверху при свете звезд на нее смотрели маски, холодные и неподвижные. Она тосковала:

— Если бы у меня был ребенок!

Вдруг ей почудилось, что за ней следует, точно плывет, что-то. Она была на далеком море, за ней плыло что-то: утонувший мальчик Павица!

Перед ней, по траве, не глядя на нее, холодная и миловидная в своем старинном наряде, мелкими шажками шла маленькая Линда, искусственное, не имеющее будущего дитя ее сети лет с Якобусом. Если бы оно было ее собственным — хоть это!

Где-то под кустом, плача, со сломанными ногами, прятался юный кондитер. За то, что он понравился ей, его сбросили с кухонного балкона. Смуглые и бледные, с большими, обведенными кругами, глазами, лежали черноволосые мальчики на порогах странных порталов, а перед апельсинным садом сидела девочка с мягким профилем и длинными ресницами, вся позлащенная блеском плодов. «Конечно, и они уже умерли: я слишком сильно желала их!»

Мальчик-рыбак, с ее кольцом между зубами, лежал застывший на песке, раскинув руки, счастливый тем, что принес ей в дар себя... А там, у решетки, ночной ветер шевелил цветы на коленях у мертвой малютки.

Где и под какими венками лежит теперь Жан Гиньоль?

— От меня там нет ни одного... Он хотел последовать за мной и сделать мою жизнь менее одинокой. Он не мог бы сделать этого, — все равно. Я прогнала его и не понимаю больше, почему. Я прогнала его, и он ушел далеко, как можно дальше, туда, где кончается все. Не был ли он прав? Какое право я имела называть его трусом? О, я делала это с горя; ведь я понимаю его! Почему он тогда не понял меня? Теперь он даже не услышал бы меня. Если бы он вернулся, какой кроткой и покорной он нашел бы меня при своих тщетных попытках чувствовать любовь! Его не любили, бедняжку, но и он не любил: это хуже. Тоска по способности любить сломила его.

— Но я, я люблю! Я могу услышать от Нино, что, чтобы ни случилось, я всегда Иолла, — и могу верить ему! Он должен приехать! У него есть мужество, которое я теряю. Он не знает сомнений, он такой цельный. Я опять стану такой же. Я спасена!

Но к концу тяжелой ночи безудержных рыданий, после возбуждения, доходившего до судорог, и печали, доходившей до изнеможения, ей стало ясно:

— Нет! Если бы спасение было так легко, я сейчас же схватилась бы за него, и весь страх был бы излишен. Но его нет! Нино не должен приехать. В момент, когда я слаба! Было бы позорно, если бы «следующий раз», в который он верил, имел такой вид. И к тому же еще для меня речь идет о последнем разе — почти во всем.

После, четырехчасового сна все это показалось ей кошмаром. Она чувствовала в себе вызывающую силу, появилась в обществе, вняла мольбам одного иностранного дипломата, приняла участие в его попытке столкнуть своего соперника по службе и на следующий вечер устроила празднество в саду, план которого придумала Винон Кукуру, и на которое она, из-за траура по мужу, смотрела из потайного уголка. Дамы появились все в трико, а мужчины изображали обезьян.

Но среди танца с большой, дико пахнущей обезьяной, герцогиня исчезла: она отправилась в Салерно, где у нее было назначено свидание с Асклитино, графом Аверса.

\* \* \*

В притворе собора, под аркадами, стоял его каменный саркофаг. В нем была круглая дыра; двое детей, заглядывавших в нее, сказали ей:

— Не будите его! Он спит.

Но она разбудила его силой своего желания.

Она пошла обратно по мозаичному полу с птицами на вращающихся кольцах, с масками, рыбами — загадочными символами, которые были действительностью в головах ее предков. В их головах львы у портала жили, подобно превращенным людям.

Она поднялась между кактусами по горе. Зубчатые стены сковывали черные массы садов. Глубоко внутри кричали меловые пятна вилл. Она оставила за собой покривившиеся часовни, купол с зияющими трещинами; пустые арки, в которых тускнел солнечный закат. Внизу мерцал город.

Вспаханные террасы вокруг замка были покрыты тенью. Крестьяне уже спали; какая-то собака залаяла к успокоилась.

Она прошла мимо моста и ворот и пошла вдоль наружной стороны длинных стен. Она остановилась у одной из брешей и посмотрела наверх. Там, за почерневшим отверстием стоял он, и сюзерен вкладывал ему в руку золотое знамя. Она слышала звон и неравномерные шаги на разрушенных ступенях — и он вошел во двор. Он был в тонком панцире из серебра, с оливковыми ветвями над челом, на крупных локонах, загнутых на концах; у него были красные губы.

Она стояла в своей бреши, ее черный силуэт расплывался во мраке, белое лицо выделялось в нем. Искоса, манящим и тоскующим взором, оглядывала она его. Он смотрел ей прямо в глаза, твердо и кротко. Он улыбался ей. Стало совсем темно, но она, счастливая и умиротворенная, знала, что он скрестил руки на рукоятке своего меча и улыбается в тени.

Когда она пришла снова, было слишком рано; она предвидела это. Она ждала в тесном четырехугольнике между искрошившимися камнями. Пред ее глазами сверкало море, точно магическое зеркало, поставленное между развалинами ее призрачного замка, чтобы призывать былое. Из обломка скалы она сделала себе подушку. Возле нее раздался шорох. Она обернулась; на нее острыми глазками смотрела ящерица. Герцогиня положила, как делала это в детстве, голову на руки, и она, и маленькая родственница исчезнувших с лица земли гигантов, смотрели друг на друга, долго и дружелюбно — как когда-то. Она чувствовала себя маленькой, как некогда, и затихшей. Кто-то подошел и обхватил руками ее лицо.

Он пришел в гладком камзоле, сбросил шапку и подсел к ней; и полилась беседа. Она любила его без всякого стеснения, без всякого страха. Виноград славно уродился в этом году, скоро начнется сбор. На масличных деревьях нет никакой болезни. Князь Капуи, которого называли волком Абруцц, опять напал на город Аверса, но норманны Асклитино остались победителями. Недалеко от берега был замечен турецкий корабль. Норманны, увидавшие его со своей сторожевой башни, поплыли за ним, нагнали его и захватили много добычи. Если сегодня ночью пройдет дождь, завтра будет хороший улов рыбы. Роланд Гошкорн убил своего двоюродного брата и должен заплатить церкви тысячу дукатов, чтобы избавиться от своего греха... Это была жизнь; она была проста, без лихорадки, без сомнений.

На прощанье он поцеловал ее под звездами. Вокруг них летали светящиеся жуки, и горько благоухала мята. Она подняла над головой его руки, сплетенные с ее руками, как будто борясь с ним — и так они упали друг другу на грудь.

Каждый вечер он приходил снова после работы целого дня, после того, как жал или убивал, боролся или мирил. Она могла представить себя только с ним. Он был так нежен, что читал губами мысли на ее лбу, и достаточно силен, чтобы быть ей братом и возлюбленным, защитником и отцом. И ребенком он тоже был для нее.

Он давал ей столько спокойствия, что она без испуга, даже без особенного ударения могла выговорить: «Скоро надо будет умирать». Она была в приятном ожидании новой игры, которая называлась смертью, новой, еще неиспробованной маски и неведомого возбуждения. Смерть вступала в ее душу, как в волшебный сад; от его блистающего воздуха она становилась цветущей и легкой.

Ей хотелось испытать ощущение ее. Она вкусила ее с Асклитино, она, которая еще должна была изведать смерть, с ним, уже испробовавшим ее. Он объяснил ей, что смерть от любимой руки очень сладка. Он просил ее об этом.

В первую ночь она принесла ему три отравленные розы. От них пахло ядом. Они говорили друг другу все свои ласкательные слова, прильнув губами к смертельным цветам.

Во вторую ночь он был бледен; тем нежнее она заключила его в свои объятия. Она принесла два отравленных апельсина, сок которых они выпили. После этого от него осталась только тень, и сама она чувствовала себя на третью ночь совсем легкой, окрыленной, трепещущей в ожидании чего-то волшебного. Она протянула ему губы — и отшатнулась прежде, чем он мог прикоснуться к ним. Было темно, под ними призрачно пылало море. Он с трепетом сказал, закрыв глаза:

— Я хотел бы, Иолла, чтобы ты сделала это. — Тогда она дала ему яд в поцелуе.

\* \* \*

Утром получила письмо от Рущука. Он сообщал, что Сличчи вернулся из своего заграничного турне; он несравненен. Она тотчас же поехала в Неаполь. У Сличчи не было других достоинств, кроме бесшабашных грязных выходок и петушиной мужественности.

Когда Рущук увидел, что она без колебаний сделала Сличчи своим возлюбленным, он в тревоге спросил себя:

— Ведь еще ниже уровень ее требований не может опуститься? Значит, моя очередь так и не придет? Ведь я не могу казаться ей ниже Сличчи. А может быть... Будем надеяться.

И в своей набожности он обратился с просьбой к своему старому богу, чтобы герцогиня нашла его еще ниже Сличчи.

От комика так и несло пошлостью. Это был рыжий неаполитанец, безобразный, худой, весь из нервов, с маленькими водянистыми глазками, которые умели смотреть дико. Его подвижность пугала, а в его сухих жестах при всей их забавности чувствовалась жестокость. Когда он хотел, из его худощавого тела исходил голос, звучавший, как медь.

Когда он стоял на сцене театра Варьете, зрителю передавалось ощущение безудержного беспутства. Он появлялся в виде мальчугана в синей блузке, на деревянной лошадке, и пел о своей мамаше, как о «странном типе». Она вечно пропадает с кавалерами, папаша же сидит в буфете, ест, пьет, и ничего не замечает. Вдруг мальчуган дергал поводья своей лошадки, размахивал бичом и кусал свой высовывающийся язык, в то же время с ужасным видом косясь на кончик своего носа, уже порядочно красневший... Затем он появлялся в картузе бледного повесы из «Дурной жизни» и издавал свист, которым извещал проститутку, что ждет на углу и имеет желание посмотреть на ее гостей. И три зловещие ноты, холодно проносившееся над рядами встрепенувшихся буржуа, вызывали жуткий восторг.

Герцогиня оставила его у себя. Он был ей нужен, как средство против часов скуки, против тревоги ночей, против отвращения к тому, что было, против мыслен о том, что предстояло. Она прибегала к нему во всякое время дня, как к флакону с эфиром. Он был ее пороком, она дорожила им и боялась его. Это было все, что ей оставалось, и это должно было ее убить.

Однажды вечером в его объятиях у нее хлынула горлом кровь. Перед этим она не замечала ничего, кроме легкого головокружения.

Сличчи одним прыжком соскочил с постели и с безумным криком забегал по комнате. Наконец, он нашел дверь и убежал, держа кальсоны в одной руке, а фальшивые брильянтовые запонки — в другой.

Она сказала себе, немного ошеломленная происшедшим:

— Так вот как далеко зашло дело.

Но ей не казалось, чтобы это должно было что-нибудь изменить. Утром она даже не чувствовала себя особенно слабой. Она послала за Сличчи; его не было. Ей недоставало его целый день, как привычного приема средства для возбуждения нервов. Вечером она узнала, что он уехал с леди Олимпией, которая в этот день прибыла в Неаполь. Казалось, что в Сличчи она, наконец, нашла мужчину, которого ей не надо было щадить; и она похитила его у своей приятельницы. Венера — ревнивая богиня. Среди тех, кто служит ей, верности не существует.

Герцогиня тотчас же поехала вслед. У нее вырвался только один крик разочарования и боли. Дорогой она ни минуты не думала о себе, о своем состоянии, о своей судьбе. Ее не тревожили также воспоминания об опьянении, которое ей доставлял бежавший, и из-за которого она гналась за ним. Перед ее умственным взором не было ничего, кроме какой-то неопределенной цели.

В Риме она тщетно искала. Она подняла на ноги сыщиков. В Милане она узнала от одного агента, что комик покинул Италию. Она пересекла Альпы. По ту сторону их была поздняя осень.

Она ехала, не зная куда. Она сидела в своем купе и была изумлена, почувствовав на плечах меховую накидку. На станции она спросила Нана, свою камеристку:

— Ведь вы не знали, что я поеду в холодные страны?

— Проспер утверждал это. Он взял все с собой.

— Проспер?

Она удивилась. Значит, она не одна? Кто-то думает о ней? Проспер, все еще?

Она ехала по следам, которые ей указывали ее шпионы, из города в город. В конце концов ей сказали, что парочка села на пароход, отправлявшийся в Мадейру. Ах! Там должно было быть прекрасно, на острове с вечной весной.

Город, в котором она получила это сведение, находился недалеко от Северного моря; она не могла решить, что ей делать. Вокруг церкви с остроконечными колокольнями носился ледяной ветер, такой сильный, что ее меховая накидка развевалась.

Она поехала дальше. Комика она забыла. Но перед ней лежала какая-то неопределенная цель. Она знала, что должно случиться что-то совершенно новое, что-то, еще чуждое мысли, чего нельзя даже бояться, так оно непонятно. И в ожидании, от которого у нее захватывало дыхание, она, выпрямившись, сидела у окна, обратив свой бледный, худой профиль к степи, на которую падал снег.

Наконец она увидела.

Поезд остановился среди поля, потому что рельсы были занесены снегом. Она вышла из вагона и стала смотреть на ворон, стая которых смутными силуэтами вырисовывалась в крутящемся снеге. Но она видела только один силуэт. Он приближался вместе с черной стаей. Он скалил зубы, холодный и неизбежный.

И в одно короткое мгновение разорвались все расшитые покровы, которые ее дух когда-то разостлал перед небытием. Искусство и любовь, гордость свободной души — все разлетелось. Все рассыпалось перед ее глазами: величие жестов, красота форм, блеск красок, пышность слов.

Она чувствовала себя обнаженной под этой усмешкой в снегу. Бросившись вперед, зачарованная и прельщенная, она простерла обе руки, точно приветствуя. И застывший остаток пляски вакханки был в приветствиях, которыми она встретила смерть.

VI

Она поехала обратно. Припадки удушья несколько раз заставляли ее прерывать путешествие. Боль под ложечкой появлялась и исчезала. На каждой из отдельных кроватей она приказывала себе: «Только не умереть здесь! Я не готова».

Снова начались мучительные боли в голове. Они всегда приносили с собой возмущение во всем теле: оно томилось тогда и требовало объятий мужчины. Но теперь она не думала о мужчинах. Ее кровь кричала только об одном: «Ребенок!» Одна единственная мысль в ней возмущалась против конца. Только одно страстное желание протягивало руки из тени, разраставшейся над ней: «Ребенок!» Ночь была бы менее черна. Мир не погиб бы, он продолжал бы голубеть и петь.

В Базеле она вдруг переменила маршрут и поехала в Париж.

Доктор Барбассон принял ее в своем домике в Аньере. Он оставил практику; когда ему доложили о приходе посетительницы, он подавил движение нетерпения. Вовремя он вспомнил, что эта чужестранка в блестящую пору его славы вместе с другими знатными дамами испытала прикосновение его руки, его короткой, нежной руки, делавшей из пациентки возлюбленную. Не вообразила ли она себе материнские радости, для которых не было необходимых предпосылок? Как ухмылялся старый герцог, этот циник!

Она сидела в его маленьком салоне. Говорили о старых знакомых. Доктор уверял об одном, будто он умер оттого, что его отцовское сердце было разбито, о другой, что смерть была ей ниспослана, чтобы спасти ее от больших страданий. Герцогиня с раздражением думала: «Как крепко связанной еще с жалкой жизнью я должна ему казаться, что он угощает меня такими благожелательными изречениями! Сам он, со своей шапочкой из черного бархата, со своей красиво подстриженной белой бородкой, еще и не думает о смерти». Затем она рассказала ему о своей болезни.

И сразу светский человек исчез с резкого, вдумчивого лица врача. Он слушал, подперев подбородок рукой. Его задумчивый взгляд иногда встречался с глазами герцогини. Он осторожно задавал беглые вопросы, звучавшие совсем безобидно; но они были зловещи. Герцогиня совершенно не замечала этого; он удивлялся холодности ее голоса. Наконец, он объявил, что должен исследовать ее. Между тем, как она раздевалась, он говорил себе в соседней комнате:

— Она плюет на свое здоровье. Она знает так же хорошо, как и я, что о нем не стоит и говорить. Она хочет чего-то другого. Мы узнаем, в чем дело... Какое великолепное разрушение! А! Она была женщиной вполне, не щадившей себя до самого конца. Если бы у многих было мужество на это, нашему брату нечем было бы жить. Все равно; я восхищаюсь ею. И если бы я был женщиной — так хотел бы я кончить!

Это не мешало ему быть довольным тем, что он помог многим женщинам осторожно продлить свою жизнь, при чем часто и сам получал удовольствие. Доставляло ему удовольствие и то, что эта великолепная умирающая показывала ему в его уютной комнате одно за другим все клейма, которые наложил на нее неистовый Эрос... Но зачем она делала это? Чего она хотела?

— Прошу вас одеться, — очень сдержанно сказал он. Она, видимо, думала о чем-то другом.

Она была переполнена одной умоляющей мыслью. «Еще одно мгновение! Если я заговорю, я погибла. Он скажет мне, что это невозможно навсегда. Я знаю это, о, мое тело жестоко дает мне это понять. Но я не верю ему, я не хочу верить! Моя надежда безумна, но я не хочу расстаться с ней!»

Уже полуодетая, она опять позвала его. Свысока, повелительно сказала она:

— Я желаю также узнать от вас, находится ли мое недомогание в связи с моей бездетностью.

Доктор понял; он кивнул головой. Это было то, чего недоставало; он был удовлетворен.

— Несомненно, — медленно сказал он. — Но материнство было бы опасно для жизни.

Она сделала презрительную гримасу.

— Во время процесса разрушения, который переживаете ваша светлость, оно было бы опасно для жизни, — повторил он, точно извиняясь.

Она потребовала с неподвижным лицом:

— Дайте мне уверенность, что оно возможно.

Он, не колеблясь, приступил к бесполезной формальности. Он заботливо подложил ей подушки и долго и тщательно исследовал ее; при этом у него было чувство, что за ним стоит и ухмыляется старый герцог. Затем он выпрямился и серьезно сказал:

— Madame, вам не на что надеяться.

— Не на что?

— Да.

Она колебалась.

— Никогда?

— Нет.

Ее голос вдруг стал хриплым, неровным. Когда врач вышел, она еще долго лежала с изнеможением на лице.

Она вернулась в салон, чтобы коротко проститься. Но Барбассон ласково, с добросовестностью врача, сказал ей:

— Прошу вас, герцогиня, не тревожиться. Кровоизлияния из легких не имеют той важности, которую им приписывают. Лежание в постели могло бы иметь следствием гипостатическое воспаление легких. Я, напротив, советую вам воздушные ванны, гимнастику, ходьбу. Рекомендую вам умеренность во всем, так как, к сожалению, спинной мозг затронут. В этом отношении я не скрываю своих опасений. Если вы хотите послушаться меня, madame, то отправляйтесь в Риву на Гардском озере и отдайте себя под наблюдение одного из моих друзей. Доктор фон Меннинген при содействии благоприятного климата, с помощью холодной воды и соответственного движения в два года вернет вам полное равновесие. Прошу вас не сомневаться в этом, — прибавил он, слегка улыбаясь.

Она поехала, чтобы чем-нибудь заняться, на площадь Оперы и взяла билет в Риву. В Десенцано она села на пароход; тогда она вспомнила, что на этом озере живет Якобус. В Мадерно она сошла с парохода; ей казалось совершенно безразличным, сойти ли здесь или в Риве.

Ближайшая деревня, в которой он жил, полукругом расположилась под залитой гор перед шпалерами для винограда. Из сомкнутой массы ее обветренных домов выступали приземистые каменные наружные лестницы; на них, обхватив руками колени, сидели женщины и перекликались. Из открытых амбаров, под выступающими деревянными крышами, выглядывали связки хвороста. Дом Якобуса стоял у откоса между кустами винограда и масличными деревьями. Это был четырехугольный крестьянский дом, отличающийся от остальных домов террасой, вдвое более длинной, чем фасад.

Красивая служанка, черноволосая, полногрудая, со смуглой кожей, сказала ей, что барина нет дома. Медленно идя обратно, герцогиня увидела его: он шел между двумя мужчинами, из которых один, маленький и толстый, мог быть помещиком. Другой был желтый, деревянный, по всей вероятности, адвокат. Она охватила их всех одним взглядом и нашла, что он подходит к ним. У него не было брюшка; он держался немного деревянно, вроде адвоката. Он обернулся: спина у него сделалась костлявой. Но жест, которым он указал на поле, выражал силу и удовлетворение: это был жест владельца.

Заметив ее, он остановился и перестал говорить. Он узнал только ее походку. Она медленно приблизилась и подняла вуаль; Якобус остолбенел. Он сказал несколько слов своим спутникам; они остановились поодаль, видимо, оробев. Он подошел, непринужденно и без порыва поцеловал ей руку и сказал:

— Как мило с вашей стороны, что вы вздумали навестить меня.

— Мне было любопытно увидеть вас еще раз.

— Еще раз, герцогиня? Еще не раз, надеюсь.

— Только этот один раз, так как я больна и должна проститься.

— Перестаньте, не говорите так. По вас ничего не видно.

— Вы видели это только что.

— Вы мрачно настроены, мы пережили так много, вы и я. С тех пор я только изредка слышал что-нибудь о вас. Знаете, свет так далек отсюда. Я принадлежу всецело деревне. Это утешает. Надо только уметь отречься. Сделайте, как я. Здесь нет ничего волнующего, прежде всего здесь никто не рисует.

— Это заметно, — сказала она.

— Не правда ли?

Он обернулся.

— Здесь у нас есть более важные дела, чем рисование, не так ли, господа?.. Это мои друзья, герцогиня: синьор Фабио Бенатти и адвокат Ромуальдо Бернардини.

— Совершенно верно, ваша светлость, — объявил адвокат хрипло, но с силой. — Здесь приходится неустанно работать для усовершенствования выработки оливкового масла, так же как и для поднятия виноделия.

— Проклятая виноградная вошь! — вздохнул Бенатти.

— Мы победим ее! — провозгласил Якобус. Адвокат восторженно прохрипел:

— Ведь у нас имеется общество для надзора и борьбы с ней — общество со статутами и правлением. Все идет отлично, благодаря самоотвержению и трудолюбию нашего председателя...

Якобус поклонился.

— Мы в общем немного отстали, — заявил он. — Я в результате тщательного изучения ввел в своем имении совершенно новую систему выжимания виноградного сока.

— Вы сами? — спросила герцогиня.

— Я сам. Система находит подражателей. Вы легко поймете ее преимущества, если я скажу вам...

Но Фабио Бенатти прервал:

— Что нам нужно, это общественные погреба. Почему цены на наши вина так низки? Потому, что они не имеют общего типа!

— Постоянство типа, — заметил адвокат, подняв палец, — первое и необходимое условие для распространения и славы вина. До тех пор, пока каждый крестьянин будет выделывать вино по-своему, постоянный тип невозможен.

Якобус прибавил:

— И обратите внимание, герцогиня, что вино нашей местности нисколько не хуже вина Бардолино, которое оплачивается гораздо дороже. Оно богато алкоголем, этим оно равно вину Ровиго; я мог бы вам привести процентное отношение. Оно содержит также массу таннина, гликозина и вообще много элементов, которые облегчили бы его переработку на научной основе...

Они оперлись все трое о забор и продолжали разговор. Герцогиня спокойно обводила взором виноградники. Из светлой зелени поднималась маленькая почерневшая церковь. Она вся обветшала и была заперта и брошена. Но над дверью на стене была едва тронутая разрушением картина, написанная в призрачных серых и розовых тонах: «Благовещение». Избранница, получившая весть о материнстве, была робка, грация ангела мягка и легка. И взор приезжей остановился на них. Его жег этот образ ее собственного невозможного желания на челе осужденного на гибель дома.

\* \* \*

Якобус, наконец, расстался со своими друзьями. Они дошли до вопроса об эмиграции; адвокат уверял:

— Новый кадастр исправит многое более справедливым распределением налогов.

— Будем надеяться, — сказал Якобус. Адвокат что-то крикнул ему вслед, он поспешно вернулся.

— Мне пришла в голову идея, за которую, милостивейшая герцогиня, надеюсь, не осудит меня. Если бы, ваша светлость, вступили в члены нашего общества — что я говорю, соблаговолили принять звание почетного члена нашего общества...

— Вашего общества против виноградной вши?

— Это, наверное, принесло бы счастье.

— Не виноградной вши, — сказал Фабио Бенатти, — а обществу.

— Я чувствую себя польщенной, господа, я принимаю. За это вы окажете мне честь принять от меня известную сумму.

Якобус повел герцогиню по своим полям, дал ей взвесить в руке виноградные кисти, которые еще оставались, назвал ей цифру дохода от винограда. Он показал ей озеро с таким видом, как будто был его хозяином, хвалил его рыб и извинялся, что вид не совсем ясен. Затем она должна была похвалить его сад... Розы еще цветут! Куры несутся удивительно. Он вытащил из сена яйцо, пробуравил его и подал ей; это придает силы. Между тем служанка ходила по двору с ребенком на руках и равнодушно смотрела на гостью своими красивыми, вопросительными глазами животного.

Якобус покраснел.

— Пасква, иди в дом! — приказал он.

— Почему? — сказала герцогиня. — Мне приятно смотреть на нее.

— Что вы хотите?.. — пробормотал он, — потребность в женщине... И потом, мальчик доставляет мне столько радости!

— Это ваш ребенок?

— Да.

Она, помолчав, сказала:

— Вы счастливы. Мать и дитя должны делать вас счастливым.

Он продолжал оправдываться.

— Мне, знаете ли, надоели умные женщины. А уж о любящих и говорить нечего! Вечно быть окруженным бурей страстей!.. Пасква восхитительно глупа. Любить меня она тоже и не думает. Она видит только, что я здоровый, крепкий пятидесятилетний мужчина. К тому же, у меня есть качества, которые нравятся ей: я не пью, не ношу с собой ножа. Она делает то, к чему призвана, и ждет, что я вспомню о ней в своем завещании; она не разочаруется. Из мальчика мы, конечно, сделаем дельного крестьянина.

— Конечно. Он кажется очень здоровым. Если тогда в один прекрасный день вам придется оставить его одного, вы сделаете это с сознанием, что все в порядке. Он будет тоже иметь детей...

— Мне нужно было много времени, чтобы понять свое сердце: бесчувственная женщина, красивое, сильное животное — вот, что мне нужно. Ах, она не требует от меня творения. О рисовании нет и речи!

— В этом теперь, кажется, ваша гордость — не рисовать?

— Я испытал достаточно тяжелое разочарование — в свое время, — пояснил он с добродушным упреком. — Нужно время, чтобы оправиться.

— Ну, я не тревожусь за вас, вы оправитесь.

— Но теперь я попрошу вас, герцогиня, разделить со мной мой деревенский обед. У нас сегодня карпы, Пасква?.. Карп — король наших рыб. Он встречается только в Гардском озере. Он появлялся на столе римского императора, всегда увенчанный лавром.

— С удовольствием, — если только я смогу есть. Я немного устала.

Он испугался, ему показалось, что она шатается. Он подхватил ее у самой двери дома.

— В эту комнату, герцогиня, — всего несколько шагов. Но что с вами? Путешествие, вероятно, утомило вас? Пожалуйста, сюда, эта кушетка очень удобна.

Он уложил ее. Она смотрела на него и вспоминала доктора Барбассона. «Все одно и то же движение возле меня: подкладывание подушек». Устало и нетерпеливо она сказала:

— Оставьте. Я хотела бы отдохнуть часок, этого достаточно. Я еду после обеда дальше в Риву, к доктору фон Меннинген.

— А!

Он впервые посмотрел на нее вполне внимательно, не думая о том, каким он сам кажется ей. Он тихо выскользнул из комнаты.

Когда она снова показалась, он обдумал все.

— Вы послали своих людей вперед?

— Да.

— Но вы не можете ехать одна. Если прикажете, я провожу вас.

— Благодарю вас.

— Я очень хорошо знаком с доктором фон Меннинген. Лучшего выбора вы не могли сделать. Он истинный врач, следовательно, принадлежит к очень редкой разновидности. Это выдающаяся личность, помогающая, ободряющая, подкрепляющая всех; он сам счастлив своим влиянием. Он на венский манер будет духовно насиловать вас ошеломляющей любезностью, чтобы у вас не осталось возможности думать о своей болезни. Вы обратите свое честолюбие на греблю, на правильное вдыхание, на карабканье по горам в двести метров вышиной! Это здорово, это успокаивает! Вы помните, герцогиня, каким измученным, беспокойным, безнадежным, конченным был я — тогда? Ну, так вот, доктору Меннингену я обязан тем, что мне вернулось доверие к самому себе и что у меня есть цели и твердое жизненное мерило.

«Какие цели? — подумала герцогиня. — И уж чересчур умеренная жизнь!»

Она заметила:

— Я говорила о Риве немного необдуманно, я еще подумаю об этом.

— Оставайтесь при своем решении! Я даю вам хороший совет.

Он продолжал убеждать; она спрашивала себя:

«Стоит ли заставлять свои члены ежедневно производить столько-то и столько-то полезных движений — только для того, чтобы не расставаться с этим миром? Ведь я пьеса за пьесой проиграла всю программу, которая была выработана для меня, прежде чем я родилась. Три богини, одна за другой, делали складки на моей одежде и определяли мои жесты, каждая согласно своему духу. Моя жизнь была художественным произведением. Должна ли я произвольно добавлять что-нибудь к своей оконченной судьбе?.. Нет!»

— Я решила, я еду домой, в Неаполь.

— Обдумайте хорошенько, герцогиня, я умоляю вас! Вы беспокоите меня больше, чем я могу сказать вам!

— Без основания, милый друг; все идет так, как я того желаю. Проводите меня обратно, в Десенцано!

— Вы позволяете? Но сегодня больше нет пароходов. Переночуйте у меня!

— Нет, нет. Мы не можем поехать на парусной лодке?

— Можем, конечно, можем! Ведь ветер попутный!

Он побежал к двери.

— Паоло, есть попутный ветер в Десенцано?.. Да, герцогиня, мы едем! Едем на парусной лодке с вами, герцогиня!

Он был счастлив; он сразу забыл свои увещания и опасения. Он, бессознательно для нее самой, напоминал ей Нино. «Какой ребенок!» — подумала она почти с нежностью.

— Но тогда мы должны сейчас ехать! — воскликнул он. — В нашем распоряжении три часа. Поезд в Милан идет в пять часов двадцать пять минут.

— Телеграфируйте прежде врачу в Риву, что я не приеду, а также Просперу, моему егерю. Он уже там. Пусть он тотчас же вернется и едет за мной в Милан.

Они сели в лодку.

— Вы не берете с собой лодочника?

— К чему? Я сам управляю парусом так, как будто никогда не делал ничего другого.

— А Линда, — вдруг спросила она. — Маленькая Линда?

— Да, страшно жаль, что вы не видели ее. Она была здесь еще неделю тому назад. Теперь становится холодно, в городе ей будет лучше.

— В Венеции?

— У Клелии... Боже мой, должен же я был дать бедной женщине хоть какое-нибудь удовлетворение. Я оставил ей Линду. Что у нее есть еще? Мортейль тупеет все больше; я думаю, он пьет.

— Маленькая Линда в своем тяжелом, блестящем, точно перламутровом платье...

— О, она его больше не носит. Что вы думаете, ведь ей уже тринадцать лет. Большая девочка.

— И, конечно, хорошенькая.

— Еще бы!

Он поднес пальцы к губам.

— И веселая?

— Тихая, очень тихая.

Он замолчал.

— Но наружность! — быстро сказал он. — Я всегда только смотрю на нее и благодарю ее за то, что она существует. Рисовать мне ее не надо: потому-то я и нахожу ее такой красивой. Какое наслаждение смотреть на прекрасное, не думая о ремесле! Посмотрите на это туманное озеро, полное неясных отражений. Как это волновало бы меня раньше! Теперь это меня нисколько не трогает — нисколько.

— Знаете, кто недавно навестил меня? — спросил он. — Нино!

— Что он делает, где он?

— Он поехал в Геную, он собирается в Америку, по поручению своей партии. Эта молодежь!.. Его бедная мать очень больна, она недолго протянет.

— Я знаю.

— Зибелинд тоже провел день у меня. Вы встретите его в Неаполе. Он становится совсем седым. Знаете, мне приятнее замечать это на знакомых, чем на себе самом. Видеть, как все старится...

— Старится? Нет. Я, по крайней мере — нет. Моя молодость и моя жизнь кончаются одновременно.

— Тогда вы счастливы, — пробормотал он.

Прошло несколько минут.

— Я опускаюсь, — сказал Якобус. — Вернее, я уже опустился. Не думайте, герцогиня, что я не знаю этого. Большей частью мне удается не думать об этом. Но есть дни... и сегодня, когда я вижу вас... Вы прекраснее, чем когда-либо!

Она медленно опустила глаза на него; он сидел, согнувшись, и смотрел на нее снизу вверх. Они молчали. Герцогиня сидела, выпрямившись, у высокого руля. Вечерело. Из облака за ней в воду скользнуло несколько роз.

— К счастью, мне не надо рисовать вас, — опять пробормотал он.

— Мне кажется, вам живется хорошо так... Но вы обращаете слишком мало внимания на парус.

— Сейчас... Но подумайте, ведь мне ничто не удавалось. Палладу Ботичелли теперь нашли, вы знаете?

— Да, в палаццо Питти. Я видела снимки с нее.

— Я даже ездил туда... Ну, так вот, она совершенно другая.

— К сожалению.

— Совершенно другая, чем моя. Нет, мне никогда не было дано довести до конца одну из грез великого века, — во времена Минервы так же мало, как и позже, когда я хотел написать Венеру.

— Вы хотели слишком многого.

В ушах ее звучали ее собственные, когда-то сказанные слова: «Созданные из бездн каждой пропасти, из звезд каждого неба». Относились ли они и к нему?

— Вы были знамениты, вы много зарабатывали, тем не менее ваше искусство не удовлетворило вас. Это необыкновенно.

— Но это скромная степень необыкновенности.

— Конечно.

Нет, эти слова не относятся к нему — ведь он унижает себя, он сумел смириться и согласился продолжать жить отрезвленным.

Они долго не произносили ни слова. Волны становились больше, лодка поднималась и падала. Озеро было широко, как море. Берега исчезли за низко спустившимися тучами. Они не видели ни одного судна, они были совершенно одни.

— Так и хочется спросить, куда вы едете, — задумчиво сказал он. — Простите, у вас такой вид, что навязывается этот вопрос: вы сидите вся белая среди всех этих темных испарений воды, — сидите, выпрямившись, на высокой палубе, вся белая, а за вашими узкими плечами под облаком тянется плоская кроваво-красная полоса, а облако стоит над вами, железное, точно шлем у вас на голове.

— Я узнаю все, — сказала герцогиня. — У вас прежнее воображение.

Он застонал.

— Вы можете поверить мне, я думал об этом все это долгое время. Я казался себе слишком хорошим для истерического Ренессанса, не правда ли? Ну, так вот, у меня не было никакого права на это. Обольстительно болезненное было именно тем, что я должен был писать. Разве иначе я мог бы писать его? Мы не должны никогда думать, что можем сделать нечто иное, чем то, что делаем; грязный Перикл был совершенно прав... В нынешнее время мы все только и живем больным. Где бы ни раздался хрип разложения, мы откликаемся на него. Это наше призвание. Я же наложил руку на великую, здоровую жизнь. Вы, герцогиня, были тогда Венерой, выхоленной и зрелой. Я хотел сделать из вас нечто безмерное, нечто всеобъемлющее, уничтожающее своим великолепием. Из всего этого вышла страдальческая физиономия Зибелинда. И поделом мне. Я мог писать вас, герцогиня, но единственное творение, которое должно было быть откровением для всех, которое каждому должно было показаться его собственной грезой и которое мог бы написать только я: его вы тогда не дали мне. Сегодня...

— Сегодня я, наконец, достаточно больна для этого.

— Герцогиня, я уже описал вам картину — картину этой странной поездки...

— Последней поездки...

— О!

— Вы не особенно торопились. Вы приходите в тот момент, когда я умираю.

— Как умираете! Как многое умирает с вами! Последняя из многих великих! Все это я передал бы в своей картине!.. Герцогиня, вернитесь со мной.

Она не ответила.

Он соскользнул со скамьи и опустился на колени.

— Вернитесь со мной!

— Опомнитесь... Вы выпустили из рук веревку паруса, ветер поворачивает.

— Держите налево... Герцогиня, вы должны! Вы не смеете отказать мне в нем, в моем величайшем творении: портрете умирающей герцогини Асси!

— Прежние упрямые слова! Теперь мне больше не в чем отказывать и нечего давать.

— Тогда я умру с вами!

Вдруг лодка глубоко накренилась на бок. Якобус упал.

— Вы слишком натянули парус! Спустите его!

— Зачем, герцогиня? Разве мы не хотим умереть?

— Спустите его, говорю я!

Это было нелегко, край лодки поднялся с трудом.

— Я вовсе не слишком натянул его, я умею управлять парусом! Но здесь, у полуострова... Герцогиня, почему мы не умерли! Теперь все было бы хорошо.

Она неподвижно смотрела на него со своего высокого сиденья, и он стал понимать, как недостижимо далека была она, со смертью, замкнутой в груди, от него, надеющегося, требовавшего себе из упорства смерти извне. «Она довольна, что умирает, но она хочет умереть не в случайном приключении и не со мной».

Им овладела робость. Он жаждал услышать хоть одно простое, безобидное слово. Причалив, он очень громко подозвал экипаж. Он хотел сесть рядом с ней, но она подала ему руку на прощанье с холодной улыбкой.

В Генуе, на вокзале, она испытала удовлетворение. У нее было искушение вызвать Нино, но она сдержалась. Он верил «в другой раз», а это было не то.

Она медленно, с перерывами, ехала на юг. Становилось теплее, ее сердце билось сильнее. В Кануе она вышла — как когда-то — и поехала за город. Лошадь должна была идти шагом, камни на дороге причиняли ей боль, но тем не менее этот воздух обволакивал ее чувства таким же мягким пухом, как и тогда День был голубой и мягкий. Облака, разрываемые ветром, серебристой пеной парили над горизонтом. За кипарисами с серебряными краями пели и смеялись флейты вечера, они отвечали флейтам утра. Земля была юной, как в первый день...

«...как в саду, когда я была ребенком и лежала в дроке. И голубая, покрытая волосками стрекоза тоже снова стоит передо мной в воздухе... И я сама не постарела. Я жила до конца, но я не знаю пресыщения, не знаю презрения. Я не чувствую ненависти ни к чему, даже к смерти!

Там, у откоса, снова улыбаются мне бледные оливы, слабые, с изъеденными стволами, но все еще готовые к чуду новых жатв... Я хотела бы быть, как они; я чувствую жизнь до последнего удара топора.

Не обращается ли во мне, смешавшись с моей кровью, любовь всей этой страны? Все ее создания, от изобилия солнца усталые и пламенные, попеременно зажигали и утомляли меня. Сотни объятий сделали ее моей, эту страну. Она во мне: это солнце во мне, сок этого винограда, пыль у ног этого бедняка и каждая дивно-прекрасная улыбка!.. Я горжусь этим! И я буду праздновать последнюю жатву, подобно срубленной оливе. Я отдам этой земле, которую я так любила, все сразу. Это смерть, она не страшна, я не питаю к ней ненависти, потому что не питаю ненависти к жизни.

Он далеко, далеко — призрак в снегу. Здесь он не имеет власти. Здесь смерть мягка, я знаю уже ее улыбку. Я знаю, какой мальчик на стене той часовни освещает серебряной лампадой двум женщинам глубокий мрак. Я люблю его, гения моей смерти!

Вся моя жизнь была одной единственной великой любовью, всему великому и прекрасному я раскрывала свои горячие объятия. Я не презирала ничего, не осуждала никого, не питала ни к кому гнева. Себя и свою судьбу я приветствовала до конца, как же могла бы я ненавидеть смерть? В ней нет ничего чуждого. Она — часть моей жизни, которую я люблю. Она — ее последний жест, и я хотела бы, чтобы он был самым счастливым».

\* \* \*

Дома она застала телеграмму от Нино:

«Готовясь в путь через Великий океан, шлю тебе, милая Иолла, последний привет из старого света».

Она улыбнулась его общим местам, носившим на себе отпечаток его жажды приключений; она ответила ему: «Счастливого пути и до свидания!»

На душе у нее было тихо и легко, когда она легла в постель. Ночью она проснулась от привычной боли под ложечкой. «Это пустяки, бывало гораздо хуже», — подумала она. Но ее сердце билось точно под пеленой страха. Она прислушивалась к его ударам. Вдруг оно совсем замерло. Она широко раскрытыми, полными ужаса глазами смотрела в темноту, и ей чудилось, что в сером воздухе отражается ее собственный страшный образ. Она перевела дыхание; пульс вернулся.

Ее ноги и руки были холодны. Она сделала несколько шагов, вдруг сердечный мускул опять судорожно сжался. У нее не было времени снова лечь в постель, боль бросила ее на первый попавшийся стул. Эта боль быстро распространилась по обе стороны груди к шее, поднялась к затылку и захватила голову. В промежутках между припадками она поднималась. Лежание причиняло ей боль и страшило ее. Как только она садилась, тревога и беспомощность заставляли ее плакать — она не знала, почему; ведь ей не было жаль себя.

Этот припадок продолжался три дня. Бесцельно блуждая по комнатам, она искала какого-нибудь облегчения. Она прижимала сложенные руки к затылку: там была давящая боль, не исчезавшая даже в минуты улучшения. Она отказывалась принять врача. Она выслала даже свою камеристку.

Однажды вечером дверь открылась, и на пороге показался Зибелинд. Он увидел герцогиню Асси на полу, обезображенную муками. И он устыдился этой мести, которую доставляла ему она, самая гордая среди счастливых. Он стоял неподвижно, опустив глаза. Она неторопливо поднялась и села в кресло: изжелта-белая в своем желтоватом пеньюаре, с исхудалым лицом под пышными, черными волосами, в которых виднелись остатки искусственной краски. Одна рука была прижата к сердцу, другая, ледяная, погружалась в хрустящие подушки. На бледном лице кроваво извивался рот. Зибелинд не знал, улыбаются ли эти губы или искажены страхом.

Он заявил, что должен сделать очень важное сообщение, иначе он не осмелился бы вторгнуться сюда. Он пояснил, что встретил в Генуе Нино. Он хотел повидать его при его проезде через Неаполь и помешать ему навестить герцогиню. Он знает, что посещение молодого человека не являлось бы в этот момент желанным для нее... Она взглянула на него.

— Вы все еще так хорошо разбираетесь в чужих душах?

— О, в душе, которая находится в вашем положении!.. Итак, его пароход прибыл вчера; его на нем не было. Телеграмма на его имя не могла быть доставлена. Произошло нечто загадочное.

— Он последовал какому-нибудь другому капризу. Вероятнее всего, он едет на следующем судне.

— Кто знает, куда идет его судно.

— Я не понимаю вас.

— Понимаете ли вы, куда идет ваше судно?

— Ах, вот что? Вы хотите сказать, что я умираю. Это вполне вероятно.

— Герцогиня, я должен попросить у вас прощения.

Под глазами у него выступили красные пятна. Он стоял, согнувшись, угловатый в своем длинном черном сюртуке, с седыми волосами на висках.

— Я считал вас одной из тех преступно счастливых, которые ничего не знают о безднах страдающих. Я ошибался. Счастливые умирают скоро, не подозревая ни о чем, как и жили. Их последний кубок был отравлен, они не знают этого — и прежде чем они это поймут, они уже мертвы. У вас, герцогиня, есть время понять и изведать до конца. Вы должны быть знакомы со страданием; иначе оно избегало бы вас и в этот час... Я вас утомляю? — деликатно спросил он.

Она приветливо ответила, хотя ее мучил страх:

— Нет, нет.

Он еще несколько времени, опустив глаза, тихо говорил о ее смерти, которая очищает и преображает ее. Она готова была думать, что ее смерть улучшает прежде всего его самого. Он был спокойнее, чем прежде, без нездорового скрежета чувств. Рука, которую он протянул ей на прощанье, не была горяча. Он просил ее позволить ему придти опять; она не имела ничего против.

Когда он ушел, она нашла на своем столе христианские брошюрки и перевернула несколько страниц. Что-то неопределенное благотворно подействовало на нее — точно запретное благоухание из прежних времен, уже порядочно выдохшееся, проникло в ее комнату. Это была любовь, как бы мало ни было ее. Этот слабый искренне влюбился в нее. Теперь, наконец, когда она умирала, он почувствовал себя достаточно близким к ней; он, жизнь которого была долгим умиранием.

Она не слышала грохота экипажа под своим окном: на ее вопрос ей сообщили, что народ сам приносит туда солому. Вечером до ее слуха донеслось мягкое бренчанье гитары. Она улыбнулась.

— Теперь вы любите меня. Когда я умру, вы будете плакать. «Бедняжка», — скажут они, потому что так называют они мертвых. Как они должны быть рады, что могут хоть раз пожалеть меня — этот единственный, неизбежный раз.

Ее сердце, наконец, успокоилось. В течение четырех дней она не испытывала никаких страданий. К вечеру пятого дня явился слуга из архиепископского дворца и спросил, может ли ее светлость принять генерального викария. Она еще не успела ответить, как доложили о нем самом.

Тамбурини вошел, быстро и тяжеловесно ступая, как много лет тому назад. Он был все тем же плотным, крепким чиновником и дельцом в священнической одежде. Живые, умные глаза по-прежнему сверкали из-под тяжелых век на топорном лице. Ни один мускул его мощных челюстей не ослабел, он сохранил все зубы, а прядь волос, делившая его низкий лоб, была совершенно черная. Но под его кожей струилось еще больше желчи.

Будущий князь церкви стоял, упираясь в землю, точно перед фронтом миллионов, в наводящей робость позе портье. За ним остановился Рущук. Герцогиня пригласила их сесть. Тамбурини сказал:

— Герцогиня, я прихожу как старый друг. Вы всегда были доброй дочерью святой церкви. Я не могу забыть этого только потому, что в последние годы вы впадали в заблуждения.

— Вы слишком добры, монсеньер, — сказала герцогиня.

— Ваши заблуждения тяжки, я признаю это, и возбудили много соблазна. Но полной исповедью и искренним раскаянием вы дадите мне возможность отпустить вам все грехи. И потом у вас есть еще другое, очень действительное средство исправить все.

Он откашлялся. Герцогиня вопросительно посмотрела на него, потом на его спутника.

— Из-за этого-то мы и пришли, — сказал Рущук.

Он поглядывал на нее мутными глазами, содрогаясь от ужаса и желания. Вот она лежит и умирает, все еще прекрасная и юная, так как ведь она герцогиня — а он не обладал ею! Он еще раз пролепетал:

— Из-за этого мы и пришли.

Она поняла.

— Ах, деньги! Вы хотите денег?

— Господин фон Зибелинд, — пояснил Тамбурини, — по моей настоятельной просьбе сообщил мне, в каком состоянии он застал вас, милая дочь. Он сказал нам, что вы ясно сознаете свое положение и переносите его по-христиански. Мы не сочли себя в праве терять время, тем более, что почтенный представитель ваших мирских интересов, наш друг господин фон Рущук, дал нам знать, что вы до сих пор не сделали никаких распоряжений.

И он бросил взгляд финансисту.

— Герцогиня, — пролепетал Рущук, багровея, — вы знаете сами, что я хорошо управлял вашим имуществом... Возможно, что я извлек из этого пользу для себя, я не отрицаю. Но несомненно, что никто другой, даже самый непокладистый герой добродетели, не мог бы доставить вам таких сумм, как я!

— Потому что никто не обладает такой ловкостью, — пояснил Тамбурини.

— Поэтому, — продолжал Рущук, — ваша светлость, поверите мне, если я скажу вам: самое лучшее будет, если вы завещаете все церкви. Мне это безразлично, но я советую вам сделать это.

— Церкви? — изумленно сказала она. — Ну, да, почему бы и не церкви?

— Уже ради вечного спасения, — сказал финансист. — И еще из других соображений.

— Будущая жизнь, дочь моя, крайне важная вещь! — громогласно возвестил викарий.

— С меня довольно было и настоящей, — просто сказала герцогиня. — И я относилась к ней серьезно.

— Мы, христиане, придаем значение только вечности, — с убеждением заявил Рущук. — Эта жизнь исполняет слишком мало наших желаний.

И его неутоленное желание мутно вспыхнуло в его взоре.

— Вы, христиане, так мало умеете использовать этот короткий промежуток времени, — сказала герцогиня, и ее замечание глубоко удивило ее, — и вы берете на себя смелость заполнить своей особой вечность.

— В этой философии вы горько раскаетесь, милая дочь! — грозно вскричал викарий. — Вместо того, чтобы ухудшать свое дело дешевым кощунством, сделайте лучше, как вам советуют, завещание в пользу святой церкви. Тогда у вас будет что привести в свое оправдание. Вам это понадобится в ближайший же момент — в том месте, куда вы идете.

— Там — я знаю, чем я похвалюсь там. Я скажу, что велела своему егерю вывести вас, монсеньер. И кто знает, может быть, я и в самом деле сделаю это.

Властная осанка Тамбурини исчезла. Он что-то скромно пробормотал. Рущук пролепетал, неприятно пораженный:

— Вы строги, герцогиня, я больше не решаюсь...

— Решайтесь, — сказала она, странно улыбаясь.

Он откинулся назад. Его стул двигался взад и вперед, так сильно тряслось его тело. Он хотел ее; с ужасом перед смертью, разжигаемый ее невидимым присутствием, он желал ее даже на этом ложе. Он будет единственным, которого у ее гроба будет гнести непоправимое сожаление. А она умирает!

Она полулежала в кресле, вся светлая, с лицом, окаймленным темными волнами волос. Брови резко выделялись на впалых висках, глаза были окружены морщинками, по обе стороны носа лежала глубокая тень, а над узкой, прозрачной переносицей скользил почти горизонтально ее взгляд, усталый, почти погасший.

Тем не менее он смирял ее обоих собеседников. Они ненавидели ее за это, но они и теперь не добились права жалеть ее. У нее оставалась красота погасающего света. Косой луч солнца бросал красное пятно под левую сторону ее носа. Подбородок загибался кверху, мягкий и полный — последнее искушение. Зубы блестели, влажные и белые. За ее покрытым бледно-фиолетовой тенью телом и матово-белым платьем на сверкающем желтом шелке стены выделялась красновато-желтая подушка.

Но разговор утомил ее. Она чувствовала, как снова сжимается сердечный мускул. Кончики ее пальцев горели от холода. Она позвонила и приказала закутать себе колени одеялом.

\* \* \*

Тамбурини не понимал, зачем ему позволять этой умирающей запугивать себя.

— Ваша светлость, имеете какие-нибудь возражения мирского характера? — спросил он. — У вас нет семьи, никого, кому вы могли бы хотеть оставить все это количество миллионов... Столько денег! — сказал он, надув щеки.

Она подумала. Нино? Богатство слишком рано разрушило бы его. Маленькая Линда? Что нужно ей, тихо и холодно покоящейся в самой себе! Кто же?

Она ответила:

— Я не имею ничего против — и ничего за.

— Если вы не отдадите вашего имущества церкви, — заметил викарий, — то все перейдет к далматскому государству.

— Да, тогда все получим мы, — подтвердил Рущук. — Ваша светлость, видите, как бескорыстно я вам советую. Только ради спасения вашей души.

— А не потому, что вы представитель финансовых интересов святой церкви? Крупнейший банкир христианского мира?

— Ваша светлость, ошибаетесь во мне. Я не думаю о таких мелочных выгодах. Не станем ли мы на мирскую точку зрения? В таком случае я сужу, как государственный человек, и нахожу, что — как бы выразиться — свободная жизнь вашей светлости требует искупления перед обществом. Доверие к существующему общественному порядку потерпело бы значительное потрясение, если бы дама в необыкновенном положении вашей светлости, титулованная и необыкновенно богатая, по крайней мере в виду смерти, не сделала благонамеренного употребления из своих больших средств.

Он говорил очень быстро, робко опустив губы к свисающему жиру своей шеи, слабо размахивая руками. Тем решительнее декламировал Тамбурини.

— Все — обстоятельства, так же, как божественные и человеческие обязанности, и не на последнем плане собственная выгода, — все склоняет вашу светлость к тому, чтобы завещать свое имущество святой матери-церкви. Я распорядился вызвать сюда нотариуса. Позвать его?

— Церкви или государству, — повторила она. — Они мне одинаково симпатичны.

— Что, если я вместо этого...

Она оперлась щекой о ладонь руки. Полузакрыв глаза, она из золотистой глубины всей своей неумирающей любви глядела на обоих апокалипсических зверей, которых вызвал перед ней ее последний час.

— Если я сделаю три больших завещания? Одно в пользу борцов за свободу среди всех народов и в пользу тех немногих среди народов, которые освобождают свой дух. Второе в пользу произведений искусства, похожих на необузданные сны, тех, о которых буржуа не может знать ничего — словом, произведений искусства. Третье в пользу чудесных островов наслаждения, где люди, без горя и почти без желания, могут забыть, что существует государство, церковь и человечество, которое страдает.

— Вы не посмеете сделать этого!.. — грубо заявил Тамбурини, разражаясь угрозами. — Рущук уверял, что такое завещание было бы недействительно. Будут думать, — пояснил он, — что в нем проявилось безумие, охватившее в последние часы вашу чересчур необузданную душу.

Она ничего не слышала. Ее последняя мечта взволновала ее так сильно, что ей хотелось закричать. Вдруг всю ее, от спины к желудку, пронизала новая боль. Судорога охватила желудок; сердце дрогнуло и замерло. Она со стоном вскочила и снова села.

Посетители вдруг замолчали. Они видели, как выступил пот на ее лбу, как сомкнулись ее веки и ослабли мускулы лица. Лицо этой женщины, которая только что еще внушала им робость и желание, разом сменилось безжизненной маской умирающей. Рущук хрипло заревел. Разъяренный священник без всякого перехода впал в торжественность. Он взял ее ледяную руку и нащупал едва заметный пульс, который то и дело замирал.

— Дочь моя, не бойся. Милость господня над тобой. Смотри, смерть приближается к тебе, как освободитель.

Она, казалось, очнулась; жизнь, точно пламя, осветило ее лицо.

— Не как освободитель, — невнятно сказала она.

Она хотела ее не как освободителя, нет, как возлюбленного, — ее, последнее преображение жизни в полноте ее страданий!.. Она корчилась на спине, тщетно пытаясь выговорить хоть слово. Она чувствовала, как все мужество ее души прихлынуло к устам. И из глубины ее мук, неслышно, но сверкая, точно стая птиц из мрака ущелья, поднималось безусловное утверждение великой жизни и ее неумолимости.

— Ваша светлость, что-нибудь сказали? — спросил Тамбурини.

Вдруг она сорвала с себя одеяло, с усилием поднялась, сделала несколько шагов и громко вскрикнула. Боль заставила ее забыть обо всем. Она опустилась на стул, прижавшись сердцем к его спинке. Но сейчас же встала, выпрямившись и точно прислушиваясь. Ее лицо приняло синеватый оттенок. Затем она стала громко дышать; дыхание вернулось. В то мгновение, когда его не было, она подумала: «Значит, вот так, — и так скоро».

Нет, это наступило не скоро. Она дотащилась до постели, дала уложить себя. Она задыхалась, началась рвота. Нана прикладывала ей горячие припарки. Рущука страх прогнал в переднюю, где он стонал и, не умолкая, говорил. Передняя была полна людей, ждавших каждый своего момента.

Тамбурини закрыл за собой дверь комнаты больной и стал отдавать приказания.

— Нотариус здесь?.. Хорошо, кавалер Муцои, герцогине сейчас потребуются ваши услуги. Она выразила нам свою волю. Ее светлость нуждается только в нескольких минутах отдыха, разговор утомил ее... Врачей! Здесь нет ни одного? Какая оплошность. Джироламо, Антонио, бегите за врачами. Приведите их столько, сколько можете, слышите! Профессоров!

Викарий разрывался на части. Он то отводил в угол какого-нибудь священника, то брал за пуговицу одного из субъектов, шмыгавших между группами с шляпой на голове и с открытой записной книжкой в руке. Любопытные с улицы нахлынули толпой, пользуясь тем, что двери дома не охранялись. На лестнице стоял шум голосов. Сквозь всю эту сутолоку уверенно пробивали себе дорогу черные посланцы Тамбурини.

— Филиппо, чтоб не забыть, санто Стефано! Пусть патер придет со святыми дарами! На всякий случай! Бог даст, они не понадобятся нам, герцогиня выздоровеет!

— А вот и вы! — крикнул он входившему элегантному господину. — Вы можете написать в «Mattino», что герцогиня завещает половину состояния городу Неаполю, другую половину — бедным. Значительную сумму получит святой отец.

Он притиснул Рущука и нотариуса к стене.

— Так лучше, — шепнул викарий. — Когда факт совершится, об этом успеют узнать.

Рущук молча вытер лоб. Он был бледен и боялся упасть. Но Муцио, весь желтый в своем блестящем сюртучке, лукаво улыбнулся.

— Я знаю эту даму, — сказал он, забавно кривляясь. — С ней не следует слишком церемониться. Она упряма, вы, монсеньер, и не представляете себе, до какой степени. Для спасения ее души нужно было бы водить ее рукой при подписи.

— Это ваше дело, — резко решил будущий князь церкви. — Мы об этом ничего не знаем... Досадно только, что мы потеряли столько времени. Больная все снова отклонялась от предмета, столь важного для нас. Ведь речь идет о таких деньгах.

Муцио посоветовал:

— Не заглянуть ли опять туда? Она, наверное, уже оправилась. У нее это делается быстро, я ее знаю.

— Вы правы, Муцио.

Викарий быстро, милостиво наклоняя голову, прошел сквозь расступившуюся толпу.

— Больная требует меня, — во всеуслышание заявил он.

Но перед запертой дверью стоял широкоплечий старик в форме егеря, с хлыстом в руке.

— Откройте, — приказал викарий.

Егерь спокойно сказал:

— Войти нельзя.

— Я генеральный викарий.

— Я знаю монсеньера. Войти нельзя. Ее светлости нехорошо.

— Ты не хочешь? — спросил Тамбурини, поднимая руку.

— Нет.

И Проспер отдал честь хлыстом...

Толпа возмутилась. Егеря окружили, он отбивался хлыстом. Викарий позвал своих слуг. Это были одетые в черное, привыкшие к созерцанию люди с выбритыми ласковыми губами; они не знали, как подступить к суровому старику. Один из них получил удар по лицу, это еще усилило сдержанность остальных.

— Вот врач! — закричали сзади. Маленький, худой старичок в светлом костюме, с накрашенными усиками, моложавый и вертлявый, подходил с важным и суетливым видом.

— Ее светлость, звали меня? — фальцетом воскликнул он. — Конечно, когда ее светлость нуждается в помощи науки, я единственный, о ком она думает. Ведь я уже раз спас ее светлости жизнь. С божьей помощью, монсеньер, это удастся и на этот раз.

Викарий схватил его за фалду сюртука.

— Доктор Джиаквинто, — прошептал он, — речь идет о том, чтобы продлить жизнь герцогини на час. Слышите, на один час. Остальное для целей господа и его святой церкви не имеет значения.

— Если бы я хотел это десять раз, врачебное искусство не может быть сильнее воли господа, — заверил доктор.

Но Рущук подкатился к доктору; живот его колыхался.

— Сделайте невозможное, превзойдите себя, доктор, сохраните герцогине жизнь!

Он умолял, ломая руки. Завещание не интересовало его. У него было только одно настойчивое желание — чтобы она жила. Пока она будет жить, у него будет надежда обладать ею, как все другие.

Тамбурини подступил к егерю.

— Врача вы, конечно, впустите.

Проспер постучал в дверь, она приоткрылась. Несколько времени спустя Нана ответила: «Если у доктора есть что-нибудь против астмы, пусть он войдет».

— Только астма? — воскликнул Джиаквинто, с ликующим видом поднимая кверху обе руки и обращаясь к собравшимся. — Ведь астма моя специальность! И папиросы со страмонием я всегда ношу в кармане! Наука в полном вооружении!

Он проскользнул в комнату. Кто-то просунул ногу в образовавшуюся щель; егерю пришлось пустить в ход руки. Между тем люди с записными книжками проползали у него между ног, чтобы добраться до двери. Ее заперли изнутри. Но взволнованная толпа все еще наступала на егеря, он размахивал хлыстом, нанося удары направо и налево.

Какой-то господин в темном пальто, очень бледный, с красными пятнами под глазами, испустил вздох и, пошатнувшись, упал на плечо Проспера. Старик попробовал посадить его на стул, но тело Зибелинда не сгибалось. Он стоял с закрытыми глазами, белый, как известь, и не отвечал. Наконец, он опять вздохнул и очнулся. Вокруг царила глубокая тишина. Еще не совсем придя в себя, не сознавая, где он, Зибелинд пролепетал:

— Это иногда случается со мной со времени той глупой истории с леди Олимпией.

Он опомнился:

— Бога ради, впустите меня, я должен сказать ей нечто очень важное.

— Потом, — решил егерь.

— Если бы герцогиня знала, о ком я приношу известие, она не хотела бы жить ни одной секунды, не выслушав меня.

Проспер воспользовался моментом спокойствия, чтобы нажать кнопку звонка. Появился привратник с двумя лакеями. Егерь дал им указания, и они словом и делом постарались втолковать гостям, что уже темнеет и дом запирается. Несколько цилиндров при этом покатилось по лестнице, несколько мелких предметов убранства были вытащены из-под сюртуков посетителей.

Наконец, комнаты опустели и погрузились в мрак. Зибелинд сидел в передней у окна, сложив руки с острыми красноватыми суставами, и повторял себе, рыдая без слез:

— Я никогда больше не увижу ее — и ее прекрасного страдания Мне не дано участвовать в нем...

Напротив него ручьем разливался Рущук Тамбурини, расставив ноги, стоял посреди комнаты и, скрестив руки, прислушивался к тому, что говорил доктор за дверью, которую неподвижно охранял Проспер. Нотариус Муцио в своем скромном углу вытягивал во всю длину желтую шею и кивал головой на все, как грязная мудрая птица с высоты.

\* \* \*

Не успел еще доктор войти, как герцогиня уже пожалела о моменте слабости, заставившем ее позвать его. Она сделала ему знак уйти, он не понял ее.

— Ваша светлость слишком милостивы. Да, я позволю себе занять этот стул и оставить его только тогда, когда мое искусство сделает вашу светлость совершенно здоровой... Ваша светлость, как я вижу, страдаете астмой. Дыхание затруднено и выходит с шумом. В руки какого ремесленника попали, ваша светлость? Какой невежда так обработал вас?

Он прислушался. Больная в волнении старалась поднять голову с подушки. Она произнесла какое-то слово.

— Что? Спинной мозг? Пустяки! Что общего имеет обыкновенная астма со спинным мозгом, спрашиваю я. Ваша светлость, как профан в медицине, совершенно не можете судить об этом. Наука после серьезного исследования, несомненно, придет к совершенно иному заключению... Что? Доктор Барбассон в Париже? Так это он — невежда, отнявший у меня доверие вашей светлости! Не оказал ли я уже однажды вашей светлости важную услугу? Не прописал ли я вам в момент опасного истощения благодетельный отдых?.. В самое короткое время силы вернулись к вам. Если бы ваша светлость доверились и на этот раз моему искусству: я убежден, что теперь с вашей светлостью дело не обстояло бы так, как обстоит... Ваша светлость, не должны обманывать себя, дело обстоит плохо. Это я сразу вижу зорким оком науки. Чтобы узнать, насколько плохо обстоит дело, я приступлю к подробному исследованию.

Он снял перчатки. Слабое сопротивление больной потонуло в его визге. Она дрожала и задыхалась. Нана должна была помочь ему раздеть свою госпожу. Они приподняли ее. Герцогиня отвернула лицо. Ее бюст, точно фарфоровый, выделялся на соскользнувшей простыне резко обрисованными плоскостями. Под поднятой рукой виднелась темная впадина.

— Руки холодны, как лед, — констатировал доктор Джиаквинто. — Пульса не чувствуется; это очень странно. Наука разъяснит это явление. В нижней части тела болей нет, даже при нажатии. Боль у нас под ложечкой? Сердце бьется? И боль распространяется на левое плечо и левую руку? Ага... Что? В спине тоже больно? Там не должно быть больно! Ведь это только астма! Я отрицаю, что это имеет хоть малейшую связь со спинным мозгом! Мы увидим! Чувствительность у вас воображаемая, чисто истерическая.

Он провел своей жесткой рукой по спинному хребту. Герцогиня вскрикнула: боль вдруг вернула ей дыхание.

— Оставьте меня! Нана, открой окно!

— Не открывайте. — вскричал старик, ощупывая свою воздушную шелковую рубашку. — Дует сильная трамонтана. Ваша светлость, простудитесь.

Она бегло оглядела его.

— Нана, помоги господину надеть плащ.

Она вдохнула холодный воздух.

— Голова не задета, — сказал доктор. — Все наладится, только не бойтесь. Пока я здесь, с вашей светлостью не случится ничего. У меня есть папиросы, против которых не устоит никакая астма.

Она только теперь поняла: «А! Его послал Тамбурини!» Она сказала:

— Вы хотите дать мне опиум. Но у меня нет времени одурманивать себя. Идите!

— Что? Ваша светлость, отвергаете благодеяния науки? Ваша светлость, поступаете неправильно. Придется, к сожалению, признать, что, ваша светлость, больше не в состоянии распоряжаться собой. Мы будем принуждены спасти вас против вашего желания. Не пришлось ли мне сделать это уже однажды?

Он зажег восковую свечку и поднес к пламени папироску. Дым ударил больной в лицо; она тотчас же упала на подушки, громко хрипя. Она сделала движение рукой. Нана бросилась к двери.

— Проспер!

Егерь появился на пороге; он впустил трех господ. Доктор Джиаквинто ждал их с полной достоинства сдержанностью. Они были все трое моложе его и были профессорами университета. Их привезли из театров В комнате больной они разом стали чопорными, деревянными, недоступными служителями пустоты. Рядом с ними даже Джиаквинто показался герцогине симпатичным. Он был все-таки человек.

— Прежде всего, — сказал Джиаквинто, заложив руку за борт жилета, — я решительно отрицаю, что состояние больной находится в связи со спинным мозгом. Если господа коллеги признают противное, я тотчас же удалюсь.

Он подвел их к постели. Наклонившись над больной, они молча слушали описание симптомов. Они были идолами, которым болезни подносились, как отвратительные жертвоприношения: они едва двигались. Наконец, они переглянулись, и один произнес за всех слова, против которых не могло быть апелляции.

— Герцогиня страдает грудной жабой, Asthma cardiacum, болезненным возбуждением сердечных нервов, вызванным раздражением спинного мозга, Irritatio spinalis primaria. На всем протяжении позвоночника мы замечаем величайшую чувствительность по отношению к малейшему прикосновению. В общем картина истерического судорожного состояния, но без заметных воспалительных явлений. Примите ваши папиросы, коллега, они бесполезны. Мы предпримем отвлечение с помощью мыльной ванны.

Доктор Джиаквинто опустил голову. В конце концов, он потребовал, раз уже хотят действовать на позвоночник, дуть в него из меха.

— Еще лучше растирать спину щетками! Ха-ха! Вы увидите, что все это не поможет. Это совсем не спинной мозг! — упрямо восклицал старик, чуть не плача.

Его не слушали. «Позаботься о мыльной ванне!» — сказал один из профессоров Нана. Но камеристка совсем оцепенела от вида этой холодной, непреклонной силы и с распростертыми руками стояла перед своей госпожой.

— Ее светлость приказали мне, — пролепетала она, — чтобы ее светлость оставили в покое. Ее светлость не нуждается ни в какой помощи.

Джиаквинто раскрыл рот и поднял руки. Но профессора оставались безучастными в своей безжизненной возвышенности, как идолы, которым не принесли жертв. Неожиданно они повернулись и отошли опять в свой угол, точно их снова отнесли в их храм. Говоривший объявил:

— Мы не предпримем ничего без согласия пациентки. Мы будем ждать. У больной бывают моменты, когда астма сменяется простым сердцебиением, когда она, естественно, приободряется и воображает, что может обойтись, без врачебной помощи... Но уже начинаются повсеместные судороги. Судороги грудобрюшной преграды и остальных дыхательных мускулов увеличиваются в силе и продолжительности. Перед нами судороги голосовой щели с опасностью удушья и цианоза...

— Совершенно верно! — прокаркал доктор Джиаквинто, злобно потирая руки. — Она совсем посинела! О, она недолго будет упираться! Она не будет больше оказывать сопротивления науке!

В дверях показался Проспер, он держал в руках поднос с письмами. Он тихо подошел к ногам постели, вытянул свободную руку и ждал, пока больная сможет услышать его. В комнате было тихо, только дыхание герцогини — тонкая, часто прерывавшаяся струйка воздуха — со свистом выходило из ее горла, останавливалось, опять возвращалось, совсем замирало и вдруг вырывалось с шумом; шея изгибалась в страхе, мускулы ее резко обрисовывались.

Егерь подавил рыдание.

— Простите, ваша светлость, — молодцевато доложил он, — из Модерно получили пакет с картиной... И потом письмо, — если, ваша светлость, позволите, — на оборотной стороне есть адрес отправителя, это синьора Джина Деграндис.

Она подняла голову; никто не надеялся на это, так как она, казалось, была уже при последнем издыхании.

— Что мне хотели дать? — внятно сказала она. — Мыльную ванну? Так скорей.

Нана выбежала из комнаты.

— Сколько времени еще есть в моем распоряжении? — спросила она еще и упала на подушки, содрогаясь от боли.

Джиаквинто торжествовал.

— Сколько, вашей светлости, угодно. Вы должны только уважать изречения науки.

Он побежал в переднюю, опередив профессоров.

— Герцогиня спасена, она берет мыльную ванну!

— Здесь нет журналистов? — спросил один из профессоров.

— Этот негодяй егерь выбросил всех, — сказал Тамбурини.

Остальные не успели оглянуться, как профессор исчез. Другой с горечью сказал:

— Я охотно отказываюсь от гласности. Я не придаю значения тому, чтобы знали, что я присутствовал при смерти герцогини.

И он, выпрямившись, вышел. Тот, который говорил все время, сказал:

— Я исполню свой долг: я приду опять через три четверти часа. Больше часа пациентка не проживет.

Доктор Джиаквинто ждал, пока закрылась дверь. Тогда он разразился.

— Эти задирающие нос всезнайки! Хотят поучать старого практика! Сначала они определяют болезни, которые могут убить лошадь, а потом хотят вылечить их мыльной водой.

— Скажите правду, доктор, сколько времени протянет больная?

— Я честный человек... Ваше сиятельство, не плачьте же так! — крикнул он обезумевшему Рущуку. — Завтра за завтраком ее светлость подпишет свое завещание.

— Вы убеждены в этом?

— Заставим герцогиню для верности завтракать уже в три часа. До тех пор я сохраню ее вам и святой церкви, или делайте со мной, что хотите, монсеньер! Я дам ей мускус и опиум, я буду впрыскивать ей эфир до тех пор, пока она не затанцует и не запоет!

— Было бы большим несчастьем, — просто пояснил викарий, — если бы бедной женщине не удалось спасти свою душу и если бы церкви не достались эти деньги — столько денег!

— Я тоже хотел бы, — жалобно сказал Рущук, — чтобы она употребила разумно свои деньги по крайней мере после смерти.

— Она сделает это, господа, — воскликнул доктор.

— Она не сделает этого, — неслышно решил Зибелинд. — Если бы она скрепила все свои страдания и свое смирение христианским завещанием, это было бы прекрасно. Она не сделает этого. Я никогда и нигде не видел такого язычника, каким была эта женщина.

— Поэтому ее имущество употребят на обращение язычников, — мудро подняв палец, сказал Муцио, стоявший подле.

— А чудесная речь, которую я держал бы над гробом этой величественной обращенной! — сказал викарий, скрестив руки и склонив голову. — Я сказал бы...

— Комната больной заперта, — прошипел доктор, сильно ожесточенный. Он постучал изо всех сил.

Проспер приоткрыл дверь и объявил довольно вежливо:

Ее светлость очень устали после ванны, они хотят отдохнуть часок. После этого ее светлость попросят к себе господина доктора.

И он закрыл дверь.

— Они оставили нас в покое? — спросила его герцогиня. — Тогда давай сюда, Проспер.

В передней Тамбурини, Муцио и доктор переглянулись: «Ничего не поделаешь!» Затем викарий подал знак, и они все трое рядом опустились на колени, сложив руки ладонями вместе. Зибелинд бросился за ними на землю в зловещем экстазе. Рущук, прерывисто вздыхая, с трудом преклонил колени. Викарий монотонно и громогласно произнес:

— Пресвятая дева Мария, помоги этой бедной душе в последний час найти путь благодати.

\* \* \*

Чтобы не слышать голосов навязчивых посетителей, она приказала перенести кровать в следующую комнату. Это был зал, поддерживаемый множеством колонн, со сверкающим мозаичным полом.

Она лежала на высоковзбитых подушках, с телом, размягченным ванной, с быстрым, очень слабым пульсом и не шевелилась, стараясь сохранить эту тихую, безбольную усталость — последнее проявление светлой жизни — на ближайшие полчаса. Потом — она предчувствовала это — наступит внезапное угасание... А ей надо было сделать еще многое.

— Дай сюда, Проспер.

Егерь подал ей поднос с письмами. Якобус просто сообщал, что посылает свою картину.

Джина писала из Генуи, из больницы. Они умирает вместе с ней. «Нино предшествует нам. Я поспешила сюда, чтобы, осужденная сама, принять своими устами его последнее дыхание. Если бы я могла прижаться ими и к вашим!

Та картина осуществилась: он идет со своей лампадой впереди нас, женщин. Я думала, что он осветит нам поле искусства: нет, сад, куда мы следуем за ним, принадлежит смерти. Но мы следуем за ним!.. Пошлите ему несколько слов, которые ободрили бы его!»

— Господин фон Зибелинд, — сказал Проспер, — просит вашу светлость прочесть эту записку; он говорит, что это важно.

Зибелинд писал:

«Я должен сообщить вам тяжелую весть, моя совесть требует этого. Я не имею права щадить вас. Я не хочу отнять у вас оправдания страдания и красоты полного поражения.

Он погиб в Генуе, в доме разврата. Он спускался по темной лестнице; с балок над ней на плечи ему упал маленький, горбатый человек; он уселся на него верхом, опрокинул его, душил его за горло и нанес ему несколько ударов ножом. Утром его нашли ограбленным и полумертвым где-то в канаве».

Она велела подать себе бумагу и перо и написала, опираясь на руку Проспера:

«Вот видишь, мы встречаемся в смерти. Я знаю, я буду стоять перед тобой в последний момент, так же, как и мой последний взор будет устремлен на тебя. Вот каков следующий раз, в который ты верил, — и мы будем счастливы. Будь уверен, что я никогда не любила никого, кроме тебя!»

— Это пусть отнесут сейчас же на телеграф.

Егерь отдал телеграмму с другого входа лакею. Затем он поставил перед ней картину Якобуса. Она велела повернуть все выключатели. Большие пучки электрического света резко разорвали сумрак. Засверкала холодная роскошь зала. И среди этой яркой белизны герцогиня увидала внезапно раскрывшееся лицо своего последнего преображения.

Она стояла в высоком челне на туманном море; на плоской груди был бледно сверкающий панцирь, на черных волосах шлем, тускло выглядывавший из облаков, а усталая бледная рука обхватывала рукоять меча. Она была девственница, опустошенная всеми силами знойной жизни и уходившая из нее в блеске другой, неприкосновенной чистоты.

Художник изобразил больше, чем ее жизнь, и больше, чем ее смерть. Из этого белого лица, в холодном спокойствии глядевшего поверх жизни, посылали свой последний привет великие грезы столетий. Это гладкое вооружение и этот холодный меч сверкали непобедимой гордостью. И бледность смерти призывала на это лицо вторую невинность. Это было снова лицо двадцатилетней беспечной победительницы. Чего тогда не знала нетронутая — то забыла умирающая. Жизнь, которая тогда еще улыбалась за ее плечами, исчезла с поля зрения ее больших, неподвижных светлых глаз. Теперь в них, как созревшая жатва, вставала смерть. В глазах умирающей Асси проходило длинное похоронное шествие всех тех, в ком она уже жила прежде.

Со сложенными руками, костлявыми ногами, закованные в железо, лежали они в своих саркофагах, и монахи окутывали их своим молитвенным ропотом. А вот тот, бледный и высокий, был залит светом факелов нагих отроков, окружавших его носилки. Одни мертвецы были слегка нарумянены и украшены нарисованной улыбкой, другие страшно ухмылялись незажившими ранами... Все они умирали снова и окончательно. В этой женщине, тихо шедшей к концу, с величественным шумом колыхались их бесчисленные катафалки. Все, что было в них прекрасного, еще раз воскресло в этой женщине. В ней еще раз вспыхнули все их страсти. Теперь в ней иссякала последняя капля крови, принадлежавшая им. С ней застывало их последнее желание, разбивался их последний жест, и опускала крыло их последняя греза.

\* \* \*

Она набросала несколько строк Якобусу, в которых благодарила его и говорила, что они были правы, когда хотели друг друга, принадлежали друг другу и боролись Друг с другом. «Это творение доказывает нашу правоту — и все, что было — благо».

Из передней визгливо доносились фальшивые звуки надгробной речи, которую Тамбурини произносил заранее. Он с силой декламировал вступление:

— Я хотел бы, чтобы все отдалившиеся от бога души, чтобы все те, которые внушили себе, что нельзя преодолеть себя и сохранить стойкость среди борьбы и страданий — словом, чтобы все, кто сомневается в своем обращении или его продолжительности, присутствовали при смерти этой женщины!..

— Поди сюда, Проспер, вот тебе чек на Французский банк. Там ты без всяких затруднений получишь столько, сколько нужно вам всем, тебе, Нана и остальным. Ты распределишь деньги по заслугам... А теперь дай мне руку, я должна отпустить тебя.

Старик пробормотал:

— Ваша светлость сказали однажды, когда дон Саверио прогнал меня, что вы никогда не сделаете этого — никогда не отпустите меня.

— И вот теперь я все-таки делаю это. Но ждала я до последней четверти часа, это ты должен принять во внимание.

— Но последняя четверть часа вашей светлости не должна была бы наступать совсем, — сказал егерь расстроенный прерывающимся голосом. — Где же я буду теперь?

— Ты можешь остаться, пока я еще буду здесь. Скажи, ты вернешься теперь на родину, купишь себе хуторок?

— Простите, ваша светлость, я уж и не знаю, куда мне деваться, когда ваша светлость не будете больше приказывать мне следовать за вами.

— Это правда, ты делаешь это так давно. У тебя нет друзей?

— Дома, в Далмации, у меня был друг. Мы очень любили друг друга, он спас мне жизнь. Но он принадлежал к врагам вашей светлости, поэтому я сказал ему, что между нами все кончено.

— У тебя не было желания жениться?

— Одна женщина в Заре хотела меня, я взял бы ее. Но у нее была харчевня, и она требовала, чтобы я остался там. Как я мог — ведь ваша светлость уезжали.

Она оглядела его — он был прекрасен, этот старик, своей долгой преданностью. Она сказала ему:

— И все твои жертвы принесли тебе только одно вознаграждение — что твоей госпоже жилось от этого немного лучше. Достаточно ли этого для тебя?

Он опустился на колени; она протянула ему обе руки, он поцеловал их медленно, тихо, благоговейно. Сквозь запертую дверь доносился зычный голос викария:

— ...Ее смерть была точно священное деяние... Ибо как вода гасит огонь, так милостыня искупает грех! И ее грех искуплен всецело!..

— Проспер, — сонливо сказала она, — погаси огонь, он мешает мне. Зажги три свечи в канделябре возле меня.

Она слышала собственный голос, как в тумане, и ей казалось, что она погружается во что-то мягкое, тонкое, где чувства бодрствуют лишь наполовину, и мимо, на бархатных подошвах, торопливо проносятся грезы. Она закрыла глаза. В полудремоте ей чудилось, что она возвращается из путешествия — из черной страны, где страдают. Дикие ландшафты страданий остались позади. Камни, трещавшие под колесами ее экипажа, мучившие ее и отнимавшие у нее дыхание, исчезли. Они мягко катились по влажному берегу моря, вздымавшего широкие, плоские волны; и они вышли из экипажа, — Нино и Иолла.

Они стояли, прижавшись друг к другу, у моря, устремив свои души к кроваво-дымящейся вечерней заре. Им приходили мысли, с которых не снимало печати слово и которые были только глубоким трепетом их несказанной гордости.

Где-то вдали напрягался грубый голос:

— ...Всю славу своих предков она превзошла тем, что покорилась и страдала в смирении...

За далью моря они видели поле с длинными линиями разрушенных арок, в которых пылало вечернее зарево, — с крепкими памятниками, кипарисами с золотыми краями и множеством скачущих всадников.

Голос опять зазвучал:

— ...Могила великих людей — весь мир, — говорит один язычник. Мы же скажем со святым епископом Амвросием: пусть плачут те, кто не надеется на новую жизнь!..

Они вместе поднялись по ступеням сверкающих террас. Их венчали белые храмы и многочисленные статуи, немые, неумолимо прекрасные. Между бледными колоннами, окруженными шелестящим лавром, из глубины заглядывало вверх желто-серое море. Они едва дышали.

Где-то сзади раздавалось крикливо:

— ...Ее последний час был посвящен размышлению о заблуждениях человеческой жизни. Вечность предстала перед ее глазами, как единственный достойный человеческого сердца предмет...

Они находились на краю старого ржаво-красного сада, где прятались пылкие звери, звенели злобные флейты, а из больших ядовитых цветов брызгал кровавый сок.

— ...Лишь того, кто не оставляет после себя наследия любви, не радует его урна! — восклицает поэт. Соединитесь вы все, христиане, любившие ее, здешние и пришельцы: помогите мне завершить ее хвалу. Пусть каждый из вас расскажет про какую-нибудь из ее добродетелей и остановится на какой-нибудь трогательной черте из ее жизни.

Умирающая очнулась. Она была одна, что-то душило ее. Она пришла в себя; это была спазма, последняя, сжавшая ее грудь. Она собрала остаток своих сил, приподняла голову, осмотрелась. Проспер стоял у двери, выпятив грудь, вытянув руки по швам, готовый еще раз приветствовать ее, если она еще раз пройдет мимо.

Напротив нее белела картина, на которой она умирала.

Она схватила канделябр с тремя свечами. Сквозь первое пламя, казалось ей, пробежала стройная женщина в коротком хитоне, с серебряным луком у бедра. Пламя умерло между пальцами герцогини. Во втором, чудилось ей, стояла, выпрямившись, другая, в падающей прямыми складками одежде, в шлеме, с дротиком. Герцогиня погасила второе пламя. Ее пальцы медленно окружили последнее. В нем, откинув голову в огонь, с волнующейся грудью лежала третья и открывала могучие члены.

И вдруг с потолка и стен быстро побежали широкие тени.

Герцогиня упала на подушки, лицом на правую сторону, открыв рот и хрипя. Дыхание у нее совершенно захватило. И вдруг в темноте она ясно увидела юношу. Он прислонился к колонне и закинул за голову скрещенные руки. Одну ногу он небрежно поставил на погасший факел. Он был наг. Он показался ей прекрасным. У него были крупные, загнутые кверху локоны, глаза его сверкали синевой, рот с короткой красной губой от смелости имел почти безумное выражение.

За дверью прогремели слова:

— Дочь Бьерна Иерсиде, взойди на небо!

Герцогиня в последний раз перевела дыхание. С влажным, холодным лбом и помутившимся взором она послала улыбку туда, в тень. И она почувствовала в тени ответную улыбку.